

Бунин,
Дзержинский и Я



ЭЛЛА
МАТОНИНА

{ события
мысли
воображения }

Элла Матонина
Бунин, Дзержинский и Я

«У Никитских ворот»

2018

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Матонина Э.

Бунин, Дзержинский и Я / Э. Матонина — «У Никитских ворот»,
2018

ISBN 978-5-0095-559-8

Антон Чехов и Лика Мизинова, Наполеон и Александр I, великие князья Константин Николаевич и Константин Константинович, Иван Бунин и Иннокентий Смоктуновский – лишь некоторые из действующих лиц этой книги. Элла Матонина – мастер исторической беллетристики. На страницах ее произведений герои прошлого оживают, становятся зримыми и понятными читателю, не теряя в то же время достоверности: художественный вымысел всегда подкреплен фактами, реальными воспоминаниями, редкими документами. В книгу «Бунин, Дзержинский и Я» вошли как уже известные, так и новые произведения. Впервые публикуется необыкновенная история сына и дочери наполеоновского полковника Ла Гранжа, вместе с женой убитого в России в 1812 году. В судьбе сирот приняли участие император Александр I и императрица Мария Федоровна, взяв их под личное покровительство и положив тем самым начало русской ветви Лагранжей – славных офицеров, прекрасных художников. Все произведения так или иначе посвящены людям, внесшим значительный вклад в русскую историю и культуру, и предназначены для самого широкого круга читателей.

УДК 82-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-0095-559-8

© Матонина Э., 2018
© У Никитских ворот, 2018

Содержание

Часть первая	6
Этот русский зимний полдень[1]	6
I	6
Глава 1	6
Глава 2	7
Глава 3	9
Глава 4	11
Глава 5	12
Глава 6	14
Глава 7	15
Глава 8	17
Глава 9	18
Глава 10	20
Глава 11	23
Глава 12	26
Глава 13	28
Глава 14	29
Глава 15	31
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Элла Матонина

Бунин, Дзержинский и Я

Старые предания, обрастая мифами, становятся еще реальнее

Часть первая

Этот русский зимний полдень¹

I

Глава 1

На улице – легкая метель, совсем не обычная для Парижа.

Все, кто звонил в дверь, а потом появлялся в прихожей, несмотря на возраст, были молодо оживлены, смеялись, отряхивая шляпы, шарфы, и восклицали изумленно и весело: «La neige» («Снег!»). Гостиная ярко освещена, но углы тонули в полумраке. Гостей встречала хозяйка, о таких женщинах принято говорить «роскошная». Красивое лицо с серыми глазами, копна светлых волос. Но взгляды гостей сразу же обращались к шумной компании в правом углу гостиной. В центре сидел, вставал, жестикулировал, вскакивал крепкий, коренастый хозяин дома – толстяк в оригинальной курточке с бантом. Ступал он грузно и косолапо, иногда останавливался на полуслове, пытаясь разглядеть среди гостей, заполнивших гостиную, жену. Она же, чувствуя его взгляд, отвлекалась от гостей и отвечала ему легкой поощряющей улыбкой.

– Как хорошо, что вы покинули Аргентину, Александр Акимович, – шумели вокруг. – Чтобы пересечь океан, сколько нужно сил!

– Переход был тяжелым: июль, жара... Качка меня доконала, не вылезал из постели, есть не мог... Да еще и волновался: нужно ли там русское искусство, нужен ли я? Но у аргентинцев, как и у испанцев, какое-то особое чутье к русскому языку. Какое-то чудо, ни черта ведь не знают о нашем духе, традициях, быте, верованиях... И вдруг старая Испания с ее Дон Кихотом мечтательному славянству подает руку!

– Писали, что муниципалитет Барселоны вам выразил благодарность!

– Это за благотворительный спектакль, – подтвердил Санин, снова отыскивая взглядом женщину с копной пепельных волос.

– Замечательно, что вы показали русскую жизнь! Даже в тех странах, в которых раньше никакого представления о ней не имели.

– Париж, пожалуй, избалован нами, – отвечал Санин. – Какие были дягилевские сезоны! Вот «Садко», например: я поставил не оперу, а оперу-балет. Певцы за кулисами, а сцена отдана балету. Но дело, в общем-то, не в воспоминаниях, а в Брониславе Нижинской. Гениальный балетмейстер, скажу я вам, вполне достойна своего великого брата. А самое главное, у нее просто невероятная тяга к русской теме – ее «Царевна-лебедь», «Снегурочка», «Картинки с выставки», «Древняя Русь», не говоря уж об оригинальной версии «Петрушки», – действи-

¹ Роман написан в соавторстве с писателем Эдуардом Говорушко (живет в США).

тельно прославили русское искусство за границей. На родине, надеюсь, когда-нибудь оценят ее как хореографа и балерину. Конечно же, уговорив госпожу Нижинскую поработать вместе, я, сами понимаете, обязан был наступить на горло собственной песне. И нисколько не жалею об этом – ее хореографию в «Садко» вполне можно поставить в один ряд с ее оригинальными балетными постановками. Сегодня Бронислава Фоминична собиралась тоже прийти, но в последний момент появилась возможность навестить больного брата и она не захотела ее терять.

– И все же правильно говорят, Александр Акимович, вы не режиссер, вы дьявол! Да, да, так все французы говорят. Чертовский темперамент, у Рейнгарда такого нет. Бешеный темперамент! Да еще методичность и дисциплина, как у немца. И это у русского человека. Французы, итальянцы поют в один голос: нам бы такого. Александр Бенуа прав – Божьей милостью вы награждены.

Санин окинул гостей лучистым взглядом и остановил хор восторженных голосов:

– Мы пойдем сейчас за стол, но, чтобы не испортить вам гастрономическое верхнее «ля», речь я произнесу здесь:

– Ставлю и ставил, друзья мои, оперы. И все новые и новые размышления одолевают меня. Что-то мне кажется, что постоянные искания от постоянной неудовлетворенности собой – это чисто русское явление. Нельзя народу стоять, вязнуть, топтаться на месте. Для души народной нужны выходы, новые касания, нужны ширь и смелость исканий, общность со всем человечеством. Но вместе с тем истинная русская душа была и остается навеки сама с собой. Верной себе, своей правде, своей истории, своим укладу, быту, семье, религии, своей культуре. Живу я на чужбине, тоскую, работаю, творю, безгранично жалею и люблю родину нашу, горжусь ею. Вот так, друзья. Пойдем выпьем за наши успехи для России.

Все двинулись в распахнутые двери, откуда виднелся покрытый накрахмаленной скатертью стол с одноцветьем блюд. Это была особенность дома Саниных – накрывать торжественный стол под знаком того или иного цвета. Препровождая гостей, Санин отыскал глазами сероглазую женщину, волнуясь, что упустил ее на секунду из поля зрения. И вдруг длинный, вызывающе громкий звонок колокольчика раздался в прихожей.

– Полин, посмотрите, пожалуйста, кто там так запоздал.

Девушка вышла и долго не появлялась. Сероглазая женщина в необъяснимой тревоге направилась в прихожую. Но там никого не было, только Полин, стоя у зеркала, воровато и смешно примеряла чужую шляпку.

– Кто был?

– Не знаю, мадам. Спросили какую-то Лику Мизинову, если я верно произношу. Я сказала, что не знаю такой.

Санин, оставивший рассаживающихся гостей, вполголоса произнес с порога:

– Но это ведь тебя, Лидуся. Кто-то из той жизни...

Глава 2

Гости разошлись довольно рано – то ли неожиданная зима напугала, то ли непривычной оказалась какая-то грустная задумчивость, не свойственная на людях хозяйке дома. Санин, проводивший последнюю пару на улицу и вернувшийся с мороза в теплую прихожую, слышал, как жена в зале расспрашивала Полин о незнакомце: как выглядел, сколько лет. Та ответила, что особенно не присматривалась. Обе не слышали, как Санин вошел и разделся, стряхнув со шляпы сухой снег.

Их парижская квартира количеством и расположением комнат немного напоминала последнюю московскую, на углу Арбата и Староконюшенного переуллка, на четвертом этаже шестиэтажного дома, построенного в 1909 году. Их дом в Париже был лишь на четыре года

старше. Открыв зеленую массивную дверь с позолоченными ручками, попадаешь в небольшой вестибюль, из которого наверх ведет нарядная деревянная лестница, покрытая тяжелым красным ковром. Здесь и без буржук в любую погоду тепло и уютно – Париж недостатка в угле не испытывал.

Квартира эта была похожа на московскую еще и тем, что до театра – там до Малого, а тут до «Орега Руссе а Парис» на Елисейских полях – рукой подать. Пешком можно добраться за полчаса, максимум за сорок минут, не тратясь понапрасну там – на извозчика, а здесь – на такси. Санин в большинстве случаев так и делал, совмещая дорогу на работу с быстрой, почти спортивной ходьбой. Улица была тихая, но рядом, в трех минутах ходьбы, – оживленная торговля Пасси с фешенебельными магазинами и уютными кафе, в которых днем кормили довольно вкусными обедами. Лида и Катя, сестра мужа, любили пройтись по магазинам, а то и просто не спеша прогуляться.

Хороша квартира была еще и тем, что Санин мог ее содержать на контракты за постановку оперных спектаклей. Занявшись оперой, он в свое время как бы вытянул счастливый билет. Большинство русских, сбежавших в Париж от советской власти, бедствовали. Жили в комнатухах третьеразрядных гостиниц, зарабатывали чем могли – мелкой торговлей, уборкой квартир, стрижкой собак, уроками рисования, музыки, танца. Княгиня Юсупова заделалась модельершей и удивляла парижских модниц.

А он, русский оперный режиссер, уже уезжая из России, знал, что не пропадет за границей, еще научит этих иностранцев, как сделать оперу притягательной не только для снобов. У него есть свой секрет, свой подход к воплощению музыки на сцене. И он сработал! Он, Санин, востребован и здесь, в

Париже, и в других странах. И платят ему вполне приличные деньги. Сейчас его талант оценен в постановках русских опер, но, чем черт не шутит, будет возможность, и он с удовольствием возьмется и за Вагнера, и за Верди. А соответствующие предложения поступят, – он не сомневался, – не здесь, в Париже, так хоть с другого полушария. Он легок на подъем, его не страшит ни тряска в поезде, ни качка на корабле! Была бы только возможность поработать, показать себя. И какое счастье, что с ним Лидуша. Где бы он ни был без нее, он знает, что ее молитвами и заботой он жив и успешен. Да, Катя права, – эта женщина послана ему мамой, которая и на небесах не покидает его.

Хорошо все же, что есть Париж, где его знают и ценят, эта уютная квартира, которую ему посоветовал снять Александр Бенуа. Здесь можно отдохнуть, сосредоточиться в кругу близких людей. Все же постоянный гостиничный водоворот уже не для него – шестьдесят два года, от них никуда не денешься.

Александр Акимович подошел к зеркалу и не понравился себе. Нет, на мэтра не похож: нет блеска в глазах, тяжелое, хмурое, как у чернорабочего, лицо, сутуловатые плечи. Впрочем, увидело бы это зеркало его на репетиции, когда он весь поглощен одной идеей, готов ею завожорить и завораживает не только певцов и музыкантов, но и целую толпу статистов, многие из которых и сцену-то видят в первый раз. Что бы тогда сказало это чертово зеркало?

Он переоделся в халат, прошел в свой кабинет, – Лидуши здесь не было, зашла к Кате. Включил недавно приобретенный приемник, попытался настроить на московскую волну. Шум, треск, свист и тяжело пробивающийся голос русского диктора. После трудного дня и вечернего приема напрягаться уже не хотелось. Раскрыл на случайной странице книгу стихов, лежащую на столе, – видимо, Лидуша принесла из русского магазина.

Но один есть в мире запах,
И одна есть в мире нега:
Это русский зимний полдень,

Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить
Сердце, помнящее много.
И уже толпятся тени
У последнего порога.

Это правда. Он взглянул на титульную страницу – Дон-Аминадо, Аминад Петрович Шполянский. Вот только, в отличие от поэта, Александр Акимович всегда и везде помнил запах русского зимнего полдня. Нахлынули детские воспоминания, читать дальше не хотелось. Как же хочется иногда домой!

И тут Александр Акимович вернулся к мысли, к загадке, которая, как он понял, так и не покидала его весь этот вечер. А в самом деле, кто был этот загадочный гость? Разве что досужий репортер какой-нибудь русской эмигрантской газетки в преддверии очередной годовщины со дня смерти Антона Павловича Чехова решился на очередную отчаянную и явно безуспешную попытку получить интервью у Лидуши? Но, придя в дом Саниных с такой целью, глупо ведь называть ее девичью фамилию? А коли уж позвонил, зачем потом растворился? Может быть, просто не рассчитывал некстати заявиться на прием?

Он был уверен – о чем бы ни говорила жена в этот субботний вечер с его сестрой Катей, загадка эта ей тоже не дает покоя. Опять всю ночь спать не будет, а утром станет привычно улыбаться, скрывая усталость и плохое настроение. Взьерошив в задумчивости по-прежнему густые волосы, Санин отправился к жене с твердым намерением отвлечь ее от раздумий на болезную тему. Он прошел через зал, где Полин заканчивала уборку праздничного стола, постучался к Кате, но жены там уже не было. Увидев свет в ванной, постучался. Лида стояла перед зеркалом. Много раз ей советовали сделать стрижку, дескать, не девочка уже – слишком много времени уходило на уход за волосами и прическу, – ни в какую не соглашалась.

– Спасибо, милая, вечер сегодня удался благодаря тебе. Ты прекрасно пела сегодня, и многие позавидовали, что у меня такая красивая и талантливая жена!

– Была красивой. А ты не скромничай – вечер, как ему и положено, сложился благодаря тебе и твоей Нижинской, хотя она сегодня и не появилась. А что, кстати, с ее братом, давно ты ничего о нем не рассказывал?

– Если ты не устала, приглашаю тебя в малую гостиную. Похоже, ты замечательную книжку принесла. Вспомнил, Дон-Аминадо мне очень хвалил Шаляпин, по его мнению, это настоящий фонтан остроумия. Федор Иванович присутствовал даже на благотворительном вечере в пользу Дон-Аминадо. Фонтан остроумия, а стихи грустные пишет...

– А кто в эмиграции пишет веселье? Надеюсь, ты знаешь, что русским поэтам и писателям, в отличие, к счастью, от музыкантов и оперных режиссеров, – Лидуша сделала легкий поклон в сторону Санина, – здесь очень тяжело живется.

– Но я же не эмигрант. Я, можно сказать, нахожусь в международной творческой командировке с целью пропаганды русского искусства!

– Ладно, не эмигрант, – улыбнулась Лидия Стахивевна, – с удовольствием посижу с тобой, так как уверена: долго не усну, если пойду сейчас в постель. А вот Катюша выразила желание сегодня пораньше лечь и выспаться.

Глава 3

На этот вопрос, любит ли его Лидуша, Санин боялся отвечать даже себе. Но что понимает и ценит – никогда не сомневался. Однако, странное дело, в их разговорах на любую тему, о любом человеке его как-то тянуло так или иначе вывести беседу на себя, сравнить другого с

собой, рассказать жене, как бы он сам поступил в тех или иных обстоятельствах. И происходило это неосознанно. Из этих сравнений следовало, что у него вышло бы во всяком случае не хуже, а коли жена вдумается, как он подспудно надеялся, то и лучше.

Вот сейчас о Брониславе Нижинской он рассказывал с таким упоением, будто говорил о себе. Да и в самом деле, несмотря на то, что он почти на двадцать лет старше, несмотря на то, что она была женщиной, ему казалось, что они очень схожи с Брониславой. И прежде всего стремлением к независимости, страстной увлеченностью русской темой, даже стилем поведения на репетициях. Уже в двадцать лет она была личностью: демонстративно ушла из Мариинки, где пользовалась успехом. Ушла в никуда. Только потому, что из театра по прихоти вдовствующей императрицы выгнали ее гениального брата!

Он, Санин, тоже однажды в молодости совершил неординарный и рискованный поступок: разорвал все связи с тем, что было дорого, дабы найти свой собственный путь.

– А ты бы видела ее на репетициях! – говорил он жене. – Характер – не дай Бог перечить ей! Не смей! А почему? Потому что знает, чего хочет. Приходит в брюках и длинной мужской рубашке, на руках – белые холщовые перчатки, чтобы не соприкасаться с потными телами исполнителей. Никакой косметики, никакой прически – волосы с прямым пробором, зачесаны за уши. Постоянно с папиросой во рту, глуховата и, как ни странно, говорит шепотом. То ли громкость не может рассчитать, то ли хочет, чтобы ей внимали. Если кто-то танцует спустя рукава, злится и становится совсем ведьмой. Ногтей, правда, как я, не грызет. Кстати, может, потому и ходит в перчатках?

– Сашуня, – сказала Лидия Стахиевна с мягкой улыбкой, – ты ведь обещал рассказать о Вацлаве, а не о ней и о себе!

Лидуша не была бы его Лидушей, если бы не отличала, что он говорил и что на самом деле хотел этим сказать. Но на этот раз он почему-то почувствовал легкое раздражение и довольно успешно попытался его скрыть.

– Понимаешь, он уступил настойчивости влюбленной в него богатой венгерки Ромолы де Пульски и, что кажется невероятным, в конце концов женился на ней!

– Что в этом плохого?

Он приготовился было сказать Лидуше, что брак повлиял на творческий потенциал Вацлава. Но осекся: Чехов, как утверждали, именно по этой причине долгое время избегал женитьбы. Аналогия в обстоятельствах, навеянных появлением русского незнакомца, как ему показалось, была бы слишком прозрачной и обидной. И ухватился за свое воспоминание:

– Кстати, судьба меня странным образом столкнула с Нижинским. Это было в Петербурге в период моей службы в Александринке. Помню, ставился балетный спектакль, не требующий расходов на декорации. Ставил его блестящий балетмейстер Михаил Фокин. Необычные костюмы, нарушение симметрии – одних артистов Фокин поднимал на возвышение – сооружал холмы, деревья, – других укладывал на траву, он избегал горизонтальных группировок. Интересным был танец фавнов. Танцоры не делали балетных па, а кувыркались, что противоречило классической школе, но соответствовало «звериному» танцу. И это был не трюк, а выражение характера. Помню, Фокин выделил одного мальчика и спросил, как его фамилия. Тот ответил: «Нижинский». Меня так увлекли работы Фокина и этот Нижинский, что я попросил балетмейстера сочинить для трагедии Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного» танец скоморохов. Фокин обрадовался и предложил показать эти пляски под «древнерусский» оркестр из гудков, гуслей, сопелок, домр, балалаек. Но начальство императорского театра заявило, что со мной будет работать официальный балетмейстер. Я же уперся рогом и сказал, что хочу Фокина и Нижинского. Если нет, ухожу из театра. Написал в газету «Русь» – ты помнишь? – и объяснил причину ухода из императорского театра.

– Где твоя память, Саша? – расхохоталась Лидия Стахивевна. – Я тебе отправила это письмо и просила убрать из него описания мелочей. И восклицательные знаки. Их было по десять штук на каждой странице.

– Да? Возможно. Да только я ушел по вине управляющего петербургской конторой императорских театров, а Нижинский вскоре – по прихоти вдовствующей императрицы – ей балетный костюм танцора показался слишком вызывающим.

– Что с ним?

– Тяжело болен. Потерял рассудок. Танцевал последний раз в каком-то благотворительном спектакле в 1919 году, когда и мы с тобой были еще в России.

– Быть может, следует его навестить? Подумай.

Глава 4

Санин, оставшись один, злился на себя. Отчего это он все время старается так или иначе предстать перед женой в лучшем свете и всегда оказывается смешон? Отчего так происходит вот уже десятки лет? Может быть, оттого, что ему всегда хотелось доказать жене, как правильно она поступила, выйдя за него, низкорослого, не всегда опрятно одетого, с массой дурных привычек, которых Лидуша, дама светская, должна была стесняться? А может, этот комплекс неполноценности идет с его ранней юности, от его первых и постоянных неудач с девушками, о которых Лидуша, как ему представлялось, либо знала, либо догадывалась. А успеха у представительниц слабого пола он всегда жаждал, ему всегда казалось, что ни награды, ни деньги, а любовь женщины и ее готовность на все – высочайшая оценка, которой удостоивается мужчина в своей жизни. Но по линии чувств его с юности преследовали неудачи. Первая тайная его влюбленность в Любовь Сергеевну, сестру Станиславского, осталась без ответа – она вышла замуж за его друга Георгия Струве. Потом он пал на колени и просил руки Марии Павловны Чеховой, но и здесь получил отказ. А потом был театр, множество очаровательных актрис.

И, наконец, будто бы сбылось: на него, как говорят, положила глаз красавица Алла Назимова, студийка Немировича-Данченко, занятая в спектаклях студии МХТ как статистка. О ней рассказывали, что, живя в «меблирашках» у Никитских ворот, отрабатывала плату за жилье уборкой, что подрабатывала и телом, пока богатый любовник, горький пьяница, не снял для нее приличную квартиру. Но для двадцативосьмилетнего Санина ее прежней жизни не существовало: Алла одарила его любовью, удостоила признанием. Что после этого для него похвала самого Станиславского за постановку массовых сцен в «Смерти Иоанна Грозного»! Несмотря на отчаянные, письменные и устные, уговоры сестры Екатерины Акимовны, что эта чувственная и вульгарная девица недостойна его, дело шло к свадьбе. Но и тут все рухнуло, причем самым неожиданным и предательским образом. Алла, по совету Немировича, решила попробовать свои силы в провинции и, не предупредив Санина, уехала в Бобруйск, играть в местном театре. Санин вне себя от отчаяния послал ей вдогонку письмо, полное упреков, будто она бросила его из-за бедности, и призывов вернуться. Все тщетно. Назимова вернулась год спустя, не сыскав в Бобруйске ни успеха, ни денег, но побывав замужем. Оба сразу осознали, что навсегда потеряны друг для друга, чему была очень рада Екатерина. «Бог и мама там, на небе, избавили тебя от этого брака», – сказала сестра.

Он боготворил Лидию Стахивевну, свою Лидушу, умницу, образованную, талантливую – она раз и навсегда прервала роковую цепь его любовных неудач, все понимала и прощала его желание покрасоваться. Но сегодня Санин уловил другие, не совсем приятные для себя нотки. «Надо это индюшество прекращать», – подумал он, засыпая. Такого рода обещания он давал себе уже не раз.

Глава 5

Они возвращались домой поздним вечером. Весеннее небо светилось луной и звездами. Запахи остывающего жаркого дня – жасмина, сирени.

– Какой запах! Словно в Дегтярном переулке, чувствуешь? Знаешь, меня расстраивает Жюльен, Жюльен Ножен. Понимаю, молод, многого не видел. Но зачем эти гримасы, конвульсии, спекулятивные замашки современных фокусников в искусстве? Вспоминаю наши российские драматические школы. Тогда их расплодилось безмерно много, и велика была прыть желающих служить искусству. Просто эпидемия, эпидемическое движение какое-то...

– И я была застигнута этой эпидемией, как все потерявшие тогда нить жизни, отбившиеся от дела и мечтающие о сценических лаврах.

– Да, это была беда, имеющая общественный корень. Но ты-то при чем? С твоим музыкальным образованием, с твоим голосом, с твоей красотой, наконец? Ты, моя бесценная, при чем здесь? Да и кто сейчас мог бы мне помочь? Ты и только ты. Ну еще Мария Николаевна.

Лидия Стахиевна остановилась, внимательно посмотрела на мужа:

– Сашуня, Ермолова умерла. Ты хорошо себя чувствуешь?

– Прекрасно. А ты собралась опять в Вогезы меня отправить, лечить от депрессион нервоз? Неужто я выдержу без тебя, искусства, самой жизни еще раз? Я здоров, Лидуша, как бык! И вспомнил Марию Николаевну, потому что не принимаю ее смерти. Знаешь, с тех пор как мою мать схоронили, Мария Николаевна стала моей второй матерью. Я служу вечному ермоловскому искусству. Она вдохнула в меня чистый идеализм, проповедь добра, нравственности. Я ее вечный рыцарь! Лидуша, я самый молодой режиссер в мире, поверь мне. И знаешь, почему? Вот прошли годы, из юноши я стал мужем, теперь мне за шестьдесят. И я все еще молод, потому что во мне живы, юны и трепетны ермоловские идеалы. Я человек верующий и все думаю, что она умирала там, в Москве в самую тяжелую пору моей болезни. Как это странно. Об этой странности я даже дочери Ермоловой написал. Ты печальна, дружочек... Из памяти не идет этот незнакомец? Ах, Полин, Полин...

Лидия Стахиевна молчала.

В комнатах было не холодно, но сыровато. Лето еще не согрело парижские дома. После ужина Александр Акимович позвал жену посидеть в их любимой малой гостиной.

– Давай поговорим, – предложил он ей. – Все мы на людях...

«Малой гостиной» они называли комнату с камином, двумя удобными диванами, двумя круглыми столиками для чаепитий, большим секретером между окнами. На стенах только русские картины – Левитан, Коровин, Малявин.

– Пусть висит, – сказал тогда Александр Акимович, водружая подарок Малявина на стену. – Меня однажды назвали Малявиным сценических постановок. За то, что я, как этот художник, грубую, ничем не прикрытую черноземную силу и вольные движения показываю горящими красками.

Здесь бывали только они и, очень редко, сестра Санина Екатерина Акимовна. Санин пришел в гостиную раньше, долго возился у секретера, опирая ящики. Падали папки, письма, газетные вырезки. Наконец появился на свет вишневый альбом с желтыми металлическими застежками.

Он проворчал что-то себе под нос, грузно устроился на диване, открыл альбом на первой странице, глянул и быстро закрыл. Стал ждать. Лидия Стахиевна пришла в мягком сером платье с перламутровой брошью на плече.

– Что это у тебя? – спросила негромко.

– Альбом с фотографиями.

– Ты взял его в большой гостиной со стола?

– Нет, я сам его составлял.

– И прятал?

– Прятал. Иногда смотрел в одиночку. Здесь все о тебе и немного о нас. То есть немного и обо мне.

С первой страницы на нее глянула фотография молодой барышни с высокой пышной прической.

– Что за странная была мода: пуговицы у меня на платье – каждая величиной с тарелку...

– Намек на то, что ты всегда любила поесть, Хаосенька. Как и я... Нет, не так. Ты – элегантно и со вкусом, я же не соображаю, что ем и сколько.

– Ты помнишь, какой это год? – спросил он неожиданно серьезно.

– Конец восьмидесятых, наверное. А может, и немного позже...

– А ты помнишь, что именно в этом году состоялось в Москве в доме Гинзбурга на Тверской открытие Общества литературы и искусства? И мы все там были. Совсем молодые-молодые...

– Все?

– Все. И ты, и я. И... Чехов. Мы не знали друг друга, но я тебя помню – красавица.

– А я думала, что ты запомнил только интеллигенцию, которая, как говорил Станиславский, «в тот вечер была налицо».

– Не смейся. Тогда налицо были Коровин, Левитан, оформлявшие зал. И великий Ленский, читавший рассказ Чехова «Предложение». Значит, и Чехов. А потом состоялся столетний юбилей Щепкина, и на нем была сама Ермолова и вся труппа Малого театра. А какие балы, маскарады в залах Благородного собрания! Станиславский – в костюме Дон Жуана, Лилина – Снегурочка. Вера Комиссаржевская – в хоре любителей цыганского пения. Были спектакли, выставки, художники показывали себя.

– Ты так все помнишь?

– Хаосенька, я же был десять лет бессменным секретарем этого общества. Станиславскому помогал. На сценических подмостках вместе появлялись. Я был его правой рукой. Иногда и двумя руками: и играл, и режиссировал.

Лидия Стахивевна отложила альбом, не тронув следующей страницы. Встала и несколько раз прошлась по гостиной, опустив голову.

– Ты фантазер, идеалист. Душу, дружбу и верность даришь самозабвенно. А тебя Станиславский – правую руку свою, на свадьбу не пригласил... Не его, элитарного, поля ты ягода! Да и расстался потом так легко с тобой, словно пушинку смахнул с рукава.

– Надеюсь, ты не хочешь меня обидеть, наступая на большую мозоль?

– Совсем нет, мой милый. Просто хочу сказать, что ты постоянно завышал свои ожидания, а потом мучился, когда они не оправдывались. А вот Чехов – как будто с малых лет знал – люди и жизнь разочаровывают. Чехов умел защищаться. Смотри, как он едет на собрание этого общества: облекается даже во фрачную пару, ждет, что будет бал. А говорит об этом небрежно. Какие цели и средства у этого общества – не знает. Что не избрали его членом, а пригласили гостем – его будто не трогает. Вносить 25 рублей членских за право скучать ему не хочется. Он заранее готов Суворину не только об интересном писать, но и о смешном. Но пишет не о смешном и не смешно, а как будто зло. У некоего немца, мол, была система, когда он кормил из одной тарелки кошку, мышь, кобчика и воробья. А у этого общества, на которое сам Чехов-то приехал, системы, мол, никакой: скучища смертная, все слоняются по комнатам, едят плохой ужин, обсчитаны лакеями. «Хорошо, должно быть, общество, если лучшая часть его так бедна вкусом, красивыми женщинами и инициативой», – смеется он. Он заметил то, что только женщина должна замечать: в передней – японское чучело, в углу – зонтик в вазе, на перилах лестницы для украшения – ковер. Он обругал художников «священнодействующими обезьянами». А между прочим, Левитан, Коровин и Сологуб прекрасно все оформили!

Санин неожиданно повеселел, но все же не без подозрения посмотрел на жену:

– Ты все-таки сердисься. Наблюдательность, а в ней соль и перец – неперемное условие характера Чехова. Он во всем и всегда такой. Да и поверь: красивых женщин он узрел. Ты никогда не могла помешать тому, чтобы на тебя не оборачивались и не засматривались. Просто Антон Павлович не сумел увидеть в состоявшемся зерно будущего Художественного театра, возможно, был не в духе. К тому же случился конфуз с чтением его рассказа. Кто-то робко сказал, что рассказ слабый, а тут появился он. А ведущий, не сообразив, ляпнул: «А вот и автор». А возможно, был обижен, что его избрали только гостем. Вот и написал об этом Суворину то ли с юмором, то ли всерьез. И просит Суворина записать его в литературное общество, обещая его посещать. Говорил, между прочим, и о драматическом обществе, и говорил серьезно. Считал, что оно должно быть коммерческим и помогать побольше зарабатывать своим членам. И председательствовать в нем должны не «иконы», а работники. Так что мог он все же обидеться, что не был избран в члены Общества литературы и искусства. Действительно, мне было девятнадцать лет, и я был избран, а он, известный, талантливый, «Степь» уже написал, старше меня, а его не избрали!

Даже сейчас, когда его уже нет и мы далеко от российских мест, мне плохо от этих мыслей.

Лидия Стахиевна посмотрела долго и нежно на мужа, поцеловала.

– Милый, добрый и смешной ты в своих благомысленных и бессмысленных мечтаниях.

– Мне хотелось отвлечь тебя от мыслей о незнакомце из той жизни. И вспомнить о ней вдвоем. Поискать бодрости, сил, одушевления в наших с тобой воспоминаниях, – сказал Санин. – А ты спать идешь...

– В следующий раз будет продолжение, согласен? Спрячь пока альбом.

Санин встал в позу, поднял бровь, глянул трагически:

– «Перенесу удар я этот, знаю, чего снести не может человек. Все побеждает время»...

– Действительно, все побеждает время, когда в сон клонит, – засмеялась Лидия Стахиевна.

Глава 6

Она открыла окно в своей комнате, зажгла лампу под абажуром золотистого цвета, подошла к зеркалу и замерла. Что хотел сказать или рассказать этот незнакомец из России? Конечно, он был из России. Он назвал имя «Лика», а оно незнакомо чужим городам. Когда-то в Париже, лет сорок назад, оно звучало и, как казалось ей, было окутано любовью и счастьем. Обманым или случайным, она и сейчас не могла это сказать. А в главном в той жизни никто, пожалуй, никогда не разберется. Она легла, заложив руки за голову, и увидела себя в тесноватой прихожей. Стены ее окрашены масляной краской, вместо столика для сумок и зонтов – широкий подоконник, слева – деревянная вешалка с множеством пальто. Она смотрела на нарядную лестницу с яркой дорожкой, прикрепленной к ступенькам начищенными медными прутьями, с перилами, обтянутыми красным Манчестером с бахромой.

«Как странно, меня звали царевной-лебедь – золотой, перламутровой, божественной, златокудрой, очаровательной, изумительной, хвалили брови, роскошные вьющиеся волосы, мою статью, а я видела себя в зеркале другой. Слишком крупные черты лица, рядом с подружкой Машей Чеховой, миниатюрной, миловидной, я и вовсе казалась себе громоздкой. Да еще бабушка, Софья Михайловна, двоюродная сестра мамы, заинтересованно опекавшая меня, говорила: «Лидуша, не увлекайся сладким: худеть – одно мучение». Словно мне в девятнадцать лет так уж необходимо было худеть. Все удивлялись, что такая молоденькая, а уже преподает в гимназии Ржевской русский язык. Застенчивость всегда была для меня бедой. Я уставала от борьбы с собой, не могла понять природу этой застенчивости. Домашние обстоятельства?

Одиночества я не чувствовала – родственников полна Москва, да и пол-Петербурга. Баловали, любили. Так что уход из семьи отца, красавца, любителя женщин Стахия Давыдовича, человека всегда свободного и вольного в своих поступках, вряд ли мог сказаться на моем характере. Правда, матери была свойственна нервность, экзальтация, без этого не бывает творческих художественных натур, а мама, Лидия Александровна, урожденная Юргенева, была талантливейшей пианисткой. Но всегда, сколько помню, она искала дешевое жилье и работу, была мною недовольна. Между нами часто вспыхивали ссоры, в них вмешивалась Софья Михайловна Иогансон, которая безумно любила обеих – и двоюродную сестру, и свою внучатую племянницу, для которой всегда была “бабушкой Соней”, бескорыстной, хлопотливой, заботливой. Бабушка была строгой и не всегда скрывала недовольство Лидушей. И не только с глазу на глаз, но и поверяла его дневнику.

Мне долго казалось, что эти вслух проговоренные строгости породили во мне комплекс неполноценности, рождали неуверенность в себе, неровное поведение, боязнь совершить что-то предосудительное, болезненную застенчивость. Обо мне говорили “умная, насмешливая, способная на вызов, оригинальная”, а бабушка все видела по-иному. И часто твердила: “Сердце-то у тебя доброе, но при твоей распушенности – и откуда ты ее только набралась – твое доброе сердце может принести тебе много горя. Все тебе не так, гадко, старо, ничем ты не дорожишь, ничего фамильного не бережешь! Да и с ленью тебе бороться надо, моя дорогая – все бы тебе читать романы, а не работать. Где-то тебя носит допоздна, ты не любишь свой дом, домашнюю жизнь?”»

Лида болезненно реагировала на эти упреки и, когда бабушка начинала свои проповеди, нарочно уходила из дома, чтобы их не слышать. Приходила к Чеховым и засиживалась допоздна. Иногда Чеховы за ней специально присылали, чтобы пойти вместе с Машей и с кем-то из ее братьев в театр или на концерт. После театра – ужин. Мать встречала ее со слезами на глазах, а бабушка все пыталась выпытать, что это за друзья у нее такие, что держат молодую девушку до двух-трех часов ночи.

Бабушка как-то быстро раскусила ее увлечение Антоном Павловичем, но никак не могла понять взятого им с ней тона. Как-то Лида принесла домой две книжки, подаренные молодым писателем, рассказы которого бабушке нравились. Она взяла книгу, с уважением раскрыла ее, прочитала дарственную надпись и огорчилась за Лидушу:

– Умный человек, много интересного, умного пишет. Но как ты себя с ним ведешь, что он ерничает, словно издевается над тобой? Что это значит, например, «Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой от ошеломленного автора»? Чего он дразнит тебя армянской породой? Так ты ему скажи, между прочим, что среди твоих дальних предков сам Пушкин был! А это что за надпись такая, что он себе позволяет, в конце концов? «Лидии Стахиевне Тер-Мизиновой, живущей в доме Джанулова от автора Тер-Чехианца на память об именинном пироге, который он не ел!» Это очень несерьезно и обидно! Как ты этого сама не понимаешь!

Бабушка ворчала, но внимательно и долго рассматривала подаренные Чеховым книги, потом смягчалась. Быть может, чувствовала, что душа ее любимой Лидуши ищет пристанища доброжелательного, понимающего. Ищет самостоятельности.

Глава 7

В доме на Садовой-Кудринской со смешным названием «Комод» Чеховы устроились после смены двенадцати квартир с 1876 по 1879 год. «Лика, ах, Ликуся, хоть Корнеев – собака, домовладелец, заставил занимать деньги, не хватало их (дал Лейкин), но я счастлив, что ваша подруга Ма-па – моя сестрица и старики здесь обосновались. Жили ведь на Якиманке, в помещении над буфетчиком, который сдавал зал под поминки или свадьбы. В обед – поминки, ночью – свадьбы. Жениху такая музыка была приятна, мне же, немощному, мешала спать».

Наедине Чехов говорил с ней серьезно, как-то особенно глядя в ее глаза. Он не считал ее растяпой, растерехой, лентяйкой. Он и все в доме-«комод» восхищались ею. Чехову было 26 лет, и дом был полон тогда молодежи. Даша Мусина-Пушкина, Варя Эберле, Дуня Эфрос, музыканты, литераторы. Все пели, играли, читали стихи.

Михаил Чехов, студент-второкурсник, отжаривал покурри из разных опереток с таким ожесточением, на которое был способен студент сангвинического темперамента. А она пела. Все говорили, что у Лики сочное красивое сопрано и надо идти на сцену.

А Чехов бросал работу вниз в своем простом кабинете с двумя окнами во двор, с кафельной печью, оливковыми обоями, столом и книжными полками, поднимался в гостиную, где главным было пианино, лиловые ламбрекены на окнах с тюлью и фикусы. И начинал дурачиться, со всеми шутить. Он говорил, что положительно не может жить без гостей; когда он один, ему становится страшно, точно он среди великого океана солистом плывет на утлой ладье.

Это было время взлета его славы. В марте его заметил Григорович, в феврале Алексей Суворин, редактор праволевой невозможно популярной газеты «Новое время» предложил регулярный субботник. Чехов не без удовольствия шутил, будто в Петербурге он самый модный писатель, – это видно из газет и журналов, где всюю треплют его имя и превозносят его паче заслуг. И действительно, рассказы его раскупались, читались публично. Свет этой молодой славы падал на весь дом и на всех, кому посчастливилось в нем бывать. А Антон шутил: «Мне, Ликуся, теперь будут платить не по семь копеек, а по двенадцать, и я дам Ма-па десять целковых, и она поскачет в театр за билетами». «А у меня зато есть имение в Тверской губернии», – говорила она ему в ответ. Ей было так хорошо в этой «Малой Чехии», как называл дом в Кудрине поэт Плещеев. Неожиданно легко вспомнились плещеевские стихи, которые не вспоминались почти сорок лет:

Отрадно будет мне мечтою
перенестись сюда порою,
перенестись к семье радушной,
где теплый дружеский привет
нежданно встретил я, где нет
и светской чопорности скучной,
и карт, и пошлой болтовни,
с пустою жизнью неразлучной,
но где в трудах проходят дни...

Ах, как ей хотелось иногда рассказать все бабушке, чтобы она поняла, чем ее держит этот дом. Но когда появлялась дома, всякая охота вдруг отчего-то пропадала.

Лица иногда спускалась в кабинет Антона Павловича. Сколько раз стояла у его письменного стола, простого, крашенного масляной краской, смотрела на бронзовую лошадку, которая украшала чернильный прибор, на лампу с жестяным козырьком, передвигала по столу подсвечники – Чехов любил писать при свечах – и слышала от него, что он привинчивает себя к столу, чтобы писать. Что в привычку у него вошло работать и иметь вид рабочего человека в промежутке от девяти утра до обеда и после вечернего чая до самого сна. И что он – настоящий чиновник, а она совсем не чиновница. И наверное, бабушка права, что она ленива. Но Лида была весело ленива от его смеющегося взгляда. Кто-то заглядывал в кабинет. «Мешаете творчеству, Лица, – говорилось ей. – Вот Шиллер, работая, любил класть в стол гнилые яблоки, а вашему Чехову непременно надо, чтобы пели и шумели, а за спиной мазал Мишель изразцы

печки в Кудринском стиле и чтобы не менее воняли гнилые яблоки. Все спасаете вы своим благоуханием, Лика».

Мишель, Михаил Павлович становился в позу и читал:

Лишь только к нам зазвонит Лика,
мы все от мала до велика,
ее заслышав робкий звон,
стремимся к ней со всех сторон.
Один из нас на низ сбегает,
ее насильно раздевает,
другой о дружбе говорит,
у третьего – лицо горит.
Она наверх к сестре заходит,
о дирижере речь заводит.
У ней всегда он на уме.
А кто-то шепчет ей: «Жаме».

...На светлом небе висела капля светлой звезды. Лидия Стахиевна закашлялась, выше взбила подушку, закрыла глаза. Неприятно сжалось сердце – ну вот, доставало. Но глаза не открыла, а вспомнила вдруг запись бабушки Софьи Михайловны в ее ежедневнике: «Худо мне, быть разрыву сердца, плохо, едва дышу. Господь милостивый, прими меня, грешную. Простите все меня, дорогие мои, Серафима, Лида, а Лидушу так и не увижу. Пятьдесят рублей, которые у меня лежат в комодке, в корзинке отдайте Лидуше на дорогу. Когда умру, не желаю затруднений...»

Нет, еще час не настал. Оказывается, осталась жива. Начали картофель сажать».

Лидия Стахиевна, засыпая, улыбнулась. Ей показалось, что у светлеющего окна стоят две фигуры – Чехов и она. Но за окном не Париж, а запорошенный снегом двор, палисадник, кустики, булыжная мостовая на Садовой-Кудринской. Выпал первый снег, и на душе такое чувство, которое описано Пушкиным в «Евгении Онегине».

Глава 8

«Ничего не вышло, не отвел я ее от больных воспоминаний. И затея с альбомом не получилась. Я думал, смогу удивить, развлечь, рассмешить, тронуть сердце. А она – вся в противоречии и даже как будто в агрессии». Санин бегал по своему кабинету, глотал воздух из открытого окна, застывал на месте, начинал остервенело грызть ногти, что было с ним всегда, когда на душе был непокой. Потом с испугом – весь домашний муравейник десятилетиями отучает его от дурной привычки – прятал руку в карман куртки, которую сшила для него жена.

«Понимаю, я не такой красавец, как он. У него и рост под метр девяносто, и румянец, а глаза с этой искрой смеха, лукавства... Он умел быть пленительным. Недаром В., женщина исключительной красоты, встречавшаяся с ним, была безоговорочна: “Он был очень красив”. Ах, это “очень”... И только бы женщины, но и мужчины – Короленко, беллетрист Лазарь Грузинский живописуют... А я был всегда... Это он был! А я – есть! Но смешон и нелеп, как и тогда, в восьмидесятые годы. “Полный, весельчак” – вот так вспоминает меня Станиславский, чью семью я веселил своими выходками. Одно это уже гарантировало удачную семейную вечеринку в доме Алексева-Станиславского и сулило мне популярность среди публики и актеров. Говорили, что я словно в трансе, словно все вижу через увеличительное стекло. А я видел через это увеличительное стекло лишь театр. В последнем классе гимназии переступил порог дома Алексева-Станиславского как участник любительского кружка актеров. В 19 лет вместе

со Станиславским дебютировал на сцене театра “Парадиз” в пьесе “Баловень”. Был замечен и был счастлив. Правда, ни отец, очень любивший театр, ни мать, увлекавшаяся пением и имевшая чудное сопрано, не приехали посмотреть на мой дебют. Оба считали, что мой путь – университет. Я же смотрел Сару Бернар и Элеонору Дузе в “Даме с камелиями” и был покорен Дузе. Правда, на сцену не прыгал и на колени перед ней не бросался, что за мною водилось в те времена, когда с такими же театральными завсегдатаями и безумцами кричал неистовое “браво” с галерки Большого театра. Где они, каким ангелам поют божественными голосами?

И Мазини, и Катонди, и Таманьо, и Джузеппе Кошма, Фелия Литвин... Я слушал пение восторженно, душа моя, охваченная чарами, рвалась неведомо куда. Таманьо дарил мне свои автографы, я, счастливый, несся домой по весенней Москве и с восторгом демонстрировал их отцу с матерью, Екатерине и брату Дмитрию...»

Санин подошел к окну – там сиял весенний Париж. Это славно. Но когда-то в девяносто первом или в девяносто четвертом – кажется, в апреле, но точно в Москве – для него весна звучала иначе. Первое ее дуновение, оживающая природа, первые лучи теплого солнца после зимней стужи мрака, вешние воды, тающие сосульки по краям крыш... Идешь по тротуару, жмуришься от удовольствия, как кот. Давно не видел, не встречал солнца, а капли с крыш нежно и ласково бьют по твоему лицу, голове, а более нахальные из них капают прямо за ворот, и ты живо чувствуешь их щекочущее присутствие – так он вспоминал русскую весну.

Александр Акимович улыбнулся. Он стар, а чувствует и помнит все, что так преломилось, запечатлелось в его сердце. Хотя ручаться за верность не может: перепутанность, непонятность, полузабытость, искаженность – извинительная особенность разговора с ушедшим в Лету.

Глава 9

Дивной отравой была опера. Но болел он драматическим театром. Вдыхая и обоняя живительный и бодрящий запах снежной Москвы, поглядывая на «бразды пушистые» на ее улицах, на дивное зимнее серебро, на ледяные узоры, дрожал от свежего холода и мороза, стоя у закрытой двери кассы Малого театра с такими же театроманами с надеждой на билетик где-нибудь на галерке. Главное было попасть на Ермолову. Лидуша сегодня вечером сказала, что Мария Николаевна умерла. «Значит, умер я, – громко фыркнул Санин. – А как же, как же...» Он подошел к сейфу в книжном шкафу, добыл из него синюю тетрадь, из нее лист бумаги и прочел: «Дорогой Александр Акимович, я очень тронута вашим подарком и горжусь им. Только верному рыцарю чистого искусства могла прийти в голову эта идея. Мне, современной жрице, не под силу этот меч великих героев, но идею с восторгом принимаю. Да, защищала как умела чистое искусство и до конца дней останусь ему верна. От всего сердца благодарю вас. Крепко жму вашу руку и желаю всего лучшего. Ермолова».

Давным давно на спектакле «Орлеанская дева» он преподнес великой актрисе настоящий средневековый меч как символ ее героического искусства. Вспомнил, как просил полковника Переяславцева организовать вручение меча актрисе, подать его из оркестровой ямы на сцену рукояткой кверху после первого акта трагедии. А еще раньше, тайно сговорившись, пятеро молодых людей, и среди них он, Санин, и его брат Дмитрий, поднесли Ермоловой в Большом театре в вечер ее бенефиса в роли Орлеанской девы приветственное обращение. Она ответила молодым людям: «Куда бы вас ни бросила жизнь, в какие бы тиски она вас ни сжала, как бы ни были впоследствии разрознены ваши души и стремления, не покидайте веры в идеал. Веруйте в прекрасное и будете верить в добро и правду. Если пламень, который горит теперь в ваших молодых душах, погаснет совсем, то погибнете, помните об этом. Вы засушите себя и будете несчастны».

Тогда Ермолова подарила каждому из них по портрету. Санину вспомнилось, что он видел все лучшие роли Марии Николаевны. «О, чудная привычка существовать и действовать» – эти слова она произнесла в «Эгмонте» Гете, и он, старый, их повторяет до сих пор, они созвучны его душе, натуре, его делу и жизни. «Идеалист, – говорили и говорят о нем. – Экспансивный, чрезмерный в душевных проявлениях, отравленный дурманом театра!» Если бы Лидуша знала, что он, приличный сын приличных родителей тайно уносил из дома книги на продажу, ибо его театральным потребностям не было конца. Увлечение театром переходило все границы, денег не хватало, и он нашел букиниста по фамилии Живарев, на Никольской улице. В магазин этого Живарева перекочевали латинские и греческие грамматики, арифметические задачки, русские хрестоматии, география, тригонометрия, история знаменитого Иловайского, сочинения Вергилия, Тита Ливия, Горация, Гомера, Ксенофонта, «Физика» Краевича – все это перелетело из дома через Лубянскую площадь к букинисту.

Санин ночью в Париже при этом воспоминании расхохотался. Но безумству молодого шалопа все-таки прощения не было. Он все это проделывал, несмотря на то, что отец, сам страстный любитель театра, дарил сыну билеты на спектакли известных гастролеров. А Савва Иванович Мамонтов, основатель Частной оперы, заметив необоримую страсть юного театромана к искусству, позволил ему приходить в любой день, на любой спектакль бесплатно. Первой почувствовала беду мать. Да и умница сестра Катерина, называя его Райским и романтиком, слишком язвительно рекомендовала ему увлекаться и убаюкивать себя сладкими мечтами. Но убаюкивать себя ни дома, ни в университете, где он забыл бывать, не пришлось. «Когда отец умер, – вспоминал он, – я нашел в его кармане три билета в театр, которыми он уже воспользоваться не мог. Надо заметить, что в то время уход на сцену молодежи считался бедой. Нет, еще сильнее, считался настоящей погубелью: свихнется, сопьется, пропадет нипочем. Так на это смотрели в буржуазных семьях. Сначала в нашей семье такого взгляда на мое посещение театров не было, этому особого значения не придавали. Сам отец приносил мне порой билеты, не понимая, что он потворствует зародившейся во мне страсти и разжигает этими подарками огонь в существе моем. . . Я все теснее и глубже стал уходить в театр. Именно мама это видела и с опасением, с тревогой, с настоящим ужасом стала считаться с этим фактом. Но это не было с ее стороны пустым и неразумным страхом. Нет. Ее мысли и чувства шли моей дорогой. Помню отлично, что она мне говорила: “Если этот путь тебе по душе, если художественная работа в театре есть твое истинное призвание, что же – иди, пробуй силы. Но прежде чем ты уйдешь на сцену, ты должен непременно окончить университет. Ставлю тебе это непременным условием. Если бы ты затерялся среди актерщины, для меня это было бы бесконечно больно. Если бы ты оказался одним из бритых лицедеев, знающих лишь водку, грязные, циничные анекдоты и грубое, лишь порнографическое ухаживание за женщинами, – это было бы для меня горем выше моих сил. Нет, я хочу, чтобы ты остался в памяти людей как высокий художник, образованный, культурный человек, отдавший свои силы на служение обществу и своему народу. С такой твоей деятельностью в сфере театра я готова примириться. Итак, прежде всего и непременно кончай университет, ведь ты, захваченный совершенно когтями театра, совсем отбил от стен университета».

И мать моя говорила сущую правду. Были остроловы, которые говорили, что я забыл даже адрес университета, на какой улице он находится. Мне надо в этих строках с полной искренностью принести мою исповедь, и я это делаю”».

Он дал матери еще один обет: сходить пешком к преподобному Сергию в Троице-Сергиеву лавру. И если бы Лидуша не спала сейчас, он вновь рассказал бы ей, что по специальности он – филолог-словесник, что за работу о Шиллере профессор Николай Ильич Стороженко, великий профессор, наградил его «весьма» и сейчас он, старик Санин, гордится этим «весьма». И что его ответы по философии и санскриту были прекрасны, и что его с защитой диплома поздравил сам Станиславский. И что он, Санин, долго носил в кармане записку, в которой

Станиславский просил его, яркого актера, уведомить, будет ли он играть роли в «означенных спектаклях»: «Гувернер», «Самоуправцы», «Последняя жертва». И что он, Санин, отказался, ибо сапоги были отданы матери, а в тапочках, далеко – и даже в театр – не уйдешь. Но диплом был получен. Актерский псевдоним «Александр Санин» выбран Александром Шенбергом в память о тургеневских «Вешних водах», которые любил «бесконечно». Этот псевдоним стал фамилией любимой Лидуши и сестры Екатерины. И осталась жива в нем любовь к жизни, природе, к солнцу, жене, к детям, красоте, поэзии. Но спать сейчас пойдет все тот же грешащий многословием Санин, преступно грызущий свои несчастные ногти, не умеющий обуздать свой темперамент, восторженность, идеализм, романтизм, тяжело переживающий любую обиду. И он вспомнил, как дождался в Петербурге после провала «Пиковой дамы» у подъезда театра, когда погасли уже фонари, грустного Чайковского, упал в снег перед ним на колени и поцеловал его руку, чем напугал великого композитора.

«А Чехов упал бы в снег на колени? – вдруг пришло Санину в голову. – Сумасшедший я... в благомысленных и бессмысленных своих поступках», – вспомнились ему слова жены.

Вздохнул, задернул шторы, оставив за ней весенний Париж.

Глава 10

– Он не упал бы! – Она посмотрела на мужа. – Не упал бы! – повторила еще раз, и очень выразительно.

Они сидели в саду. Париж был как мокрая акварель. Нежный, текучий, деревья в зеленом пуху мотались под теплым ветром, открывая небесную синеву над головой и разбрасывая солнечные пятна. Санин прочитал ей все, что написал накануне.

– Возможно, пригодится для воспоминаний о жизни, о нас с тобой, – сказал несколько сконфуженно. – Ты помнишь эту фотографию?

– Из твоего альбома, милый? – Она не помнила, у нее такой не сохранилось.

– Да.

Совсем молодая она сидит на подоконнике распахнутого окна старого дома. Лето, жара. Она в легком платье, плечи открыты, лицо запрокинуто к небу, брошена недочитанная книга...

Лидия Стахивевна перевернула фотографию – надписи на обороте не было... Она вздохнула и вернулась к разговору.

– Да, Саша, он бы не упал... Это ведь только жест, движение. И движение не всегда глубинное. Я бы сказала: внешняя эмоция. Ни сердись, я не о тебе. Ты страстный и искренний. Хотя, – Лидия Стахивевна лукаво улыбнулась, – и актер, конечно. Вот ты матушке в плен сапоги сдал – разве не актерский жест? А он был обычен и прост во всем. Ну как упадешь на колени, дожидаясь поцелуя в голову хоть бы и от Чайковского, если на тебе «пиджак повседневности». Помню, он вернулся с Сахалина, мы встречали его во дворе дома Фирганга – декабрь, сверкающий колкий снежок, и он так будничен, словно в Подольске побывал. А ведь это был стремительный, полный успех, даже не писателя, а личности. Он словно в другую категорию перешел. И это все понимали. Только Буренин гадость сочинил:

Талантливый писатель Чехов
на остров Сахалин уехал,
бродя меж скал,
там вдохновение искал.

Но не найдя там вдохновения,
свое ускорил возвращение.
Простая басни сей мораль:

для вдохновения не нужно ехать вдаль.

– Говорят, его сопровождала дама, когда он плыл по Волге.

– Кундасова. Красавица и умница, занималась математикой, астрономией. Ей нравился Антон Павлович. Он радовался попутчице, но, как всегда, подсмеивался. Говорил, что она ест так, словно овес жуёт и локтями стол долбит...

– А на пароходе он флиртовал с институтками. И кто-то пообещал ему не только увидеть цепи сахалинских каторжан, но и надеть на себя цепи Гименея. Он сказал, что у него есть в Москве невеста. Но она очень красивая, потому он ни в чем не уверен...

Лидия Стахивна, прикрыв длинными ресницами глаза, сказала со скрытым упреком:

– Ты все, я смотрю, знаешь. Детали всякие. Ну, полагаю, знаешь о его путешествии сразу после Сахалина в Италию, перед которой, как говорили в Москве и Петербурге, он не застыл в восторге, не онемел, не упал на колени перед ее культурой и красотой. Наверное, и ты принимал участие в этих разговорах?

– Нет-нет-нет. Не возводи напраслину. Сама знаешь, я, как слепец, одним глазом вижу только театр, я эдакая ходячая карикатура: «серый пиджак застегнут нижней петлей на среднюю пуговицу, топорщится на плечах, налезает на затылок, не по моде брюки, вряд ли когда-нибудь глаженные, бесформенно свисают на коротких ногах, штiblеты запылены; кусаю ноготь, “здрасьте” говорю всем одновременно». Так меня «гравируют»... Мне ли кого-то осуждать... Значит, не поклонился... Помню Катя, сестра, в пятом году впервые в Италии была и написала, что красота родилась в Средиземном море и жила в Италии, рассыпая щедро повсюду свои дары. Жаль, что мы в тот год не посетили Италию. Но ты заболела, я торопился освободиться от Александринки и от Драматической школы, чтобы ехать нам в Карлсбад.

– В Мариенбад. В Карлсбад ехала Савина.

– Ах, да. Помню ее письмо: Сара Бернар в шестьдесят с лишним лет играет в «Даме с камелиями» Маргариту Готье, а ей, Савиной, и старух в родном театре не дают играть. Помню ее упрек в адрес русской публики: заграничная пломба, мол, для наших зрителей большой авторитет, то есть если это Бернар, то ей можно и в восемьдесят лет играть двадцатилетнюю Готье. Да, хвалила она Берлин, говоря, что он интереснее Вены, куда ты, Лидуша, стремилась. Отчего, скажи теперь, стремилась? Он там бывал?

– В ту поездку, о которой столько сплетен ходило, он бывал и в Вене – ты угадал, – и в Монте-Карло, и в Риме, и в Венеции, и в Неаполе... Он поехал с Сувориным, а в Венеции они встретились с Мережковскими, которых он знал по Петербургу и чей декадентствующий салон Чехов заставлял содрогаться заявлениями, что в провинции лучше и проще: свежий хлеб, молоко ковшами, грудастые бабы. Над провинциалом смеялись, когда он уходил. И вот провинциал за границей. Мережковский к тому времени статью о нем написал. Там было много красивых слов: «неопределенная, но увлекающая прелесть», автора назвал поэтом, рассказы – новеллами, прозу – музыкой. Наверное, он и судьбу «Вишневого сада», сам того не ведая, на годы определил: трагедия красоты, музыкальная элегия, элегическая поэма – как угодно!

– Ну, это спорно! Я согласен со Станиславским: дайте Лопухину размах Шалапина, молодой Ане – темперамент Ермоловой, другой мы бы увидели «Вишневый сад». Чехов умен, и всякий век по-своему вдохновится той или другой гранью его ума.

– Ты говоришь, умен, а из Италии Мережковскими и Сувориным привезена легенда о его невежественности, малообразованности, неподготовленности к встрече с великой культурой. Где-то в десятом году Мережковский вспоминал, что сам он восторженно говорил с Чеховым об Италии, Чехов же тихонько усмехнулся, хотя первый раз был на этой дивной земле. Даже Венеция, которая была для Чехова первым итальянским городом, восторга у него не вызвала. Все он будто интересовался какими-то мелочами современного быта. Да и Суворин вторил, что писателя мало интересовало искусство, статуи, картины, храмы. И в Помпеях он скучал.

Григорович, который очень любил Чехова, взялся защитить его перед лицом неприятной болтовни, но сделал это не очень удачно: «Италия, впрочем, вряд ли могла ему понравиться, там положительно не знаешь, куда преклонить голову без специальной подготовки. Венеция, Флоренция – ничего больше, как скучные города для человека умного, но который не интересовался их историей и особенно не интересовался искусством настолько, чтобы произведения величайших мастеров и даже имена их не встречались полнейшим равнодушием. Чехов ближе присматривался к своему. Так, может быть, и следует». Ты представляешь, все эти пересуды в редакциях и домах Петербурга?! Как ему было больно...

– Что ж, Лидуша, на чужой роток не накинешь платок. Хоть были рядом с ним люди умные, но они чего-то не поняли. Он по натуре сдержан, скрытен, самолюбив и насмешлив, умеет прежде всего во всем найти сторону негативно-смешную, но никогда не лишит ее человечности. Наверное, не в его натуре бухнуться на колени посреди самой большой итальянской площади и объясниться в любви всему Средиземноморью. Я бы это мог, но я, как ты сказала, артист, для публики себя не пожалею, эмоции не сдержу. А он... Помнишь, у него есть повесть «Три года». Там герой говорит... помню приблизительно... дома тебе покажу: «У меня то мрачное настроение, то безразличное. Я робок, неуверен в себе, у меня трусливая совесть, я никак не могу приспособиться к жизни, стать ее господином. Я боюсь за каждый свой шаг, а за границей я хожу как затравленный, виноватый, потому что я родился от затравленной матери, с детства был забит и замучен». Тебе не кажется, что это он о себе и «это почти о себе» при мнительности и гордости обострилось в том путешествии в присутствии петербургского аристократа Мережковского, сына действительного статского советника, служившего в дворцовом ведомстве. Я слышал, что в представлении петербуржцев, таганрогское происхождение Чехова долго окрашивало его облик, хотя он был заменит и уже давно жил в Москве...

– Десять лет. Да что там! Письма ему даже с Сахалина слали в Таганрог, а оттуда уже в Москву. Он сердился и никак не мог взять этого в толк. Но, Саша! Саша! Не знаю, чего в тебе больше – чутья или фантазии? Ты все угадал. Когда-нибудь это станет всем известно, а тебе скажу сейчас. Он был очарован Италией, потрясен. В душе стоял перед ней на коленях, перед ее красотой и культурой. Совсем как ты перед Чайковским.

Только скрытно. Он писал об этом родным. Писал, что замечательнее Венеции городов он не видел. Это сплошное очарование, блеск, радость жизни. Его трогало, что великих художников хоронят, как великих королей, в церквах, что церкви дают приют статуям и картинам, что здесь не презирают искусство, как у нас. Он называл Венецию голубоглазой, архитектуру грациозной и легкой, гондолы птицеподобными. «Самое лучшее время в Венеции – это вечер, – писал он. – Во-первых, звезды, во-вторых, длинные каналы, в которых отражаются огни и звезды, в-третьих – гондолы, гондолы и гондолы; когда темно, они кажутся живыми. В-четвертых, хочется плакать, потому что со всех концов слышится музыка и превосходное пение. Вот плывет гондола, увешанная разноцветными фонариками; света достаточно, чтобы разглядеть контрабас, гитару, мандолину, скрипку... совсем опера».

«Италия, – писал он Маше, – не говоря уже о природе ее и тепле, когда все от неба до земли залито солнцем, единственная страна, где убеждаешься, что искусство в самом деле есть царь всего, а такое убеждение дает бодрость».

– Лида, это верно и серьезно. Я не мог сформулировать, но таким убеждением только и жив в своей работе адской.

– Возможно, Суворин и указал ему на собор Святого Марка, на домик Дездемоны, Дворец дождей, на усыпальницы Кановы и Тициана, но дух Италии, где с непривычки можно умереть, он почувствовал не меньше, чем эрудит Мережковский, а может, и больше, потому что Мережковский и Гиппиус всегда страдали пониженным чувством жизни. Они медлительностью и тяжестью были сродни застывшим формам прошлого. И восторгались лишь ими. А Чехову слышался еще звон «живущего» дня: голуби, звонки, мелодичные голоса итальянок;

его смутило, что домик Дездемоны сдают в наем, ему не нравилась рулеточная роскошь, она опошляла природу, шум моря, луну. Он чувствовал и видел отчетливо и резко пульсирующую жизнь, а не только замершую в своей красоте.

Вот так, Саша, все было на самом деле. И только раз он приоткрыл свою обиду. Суворин ехал опять в Италию, и он сказал ему: «Поклонитесь Италии. Я ее горячо люблю, хотя вы и говорили Григоровичу, будто я лег на площади Святого Марка и сказал: «Хорошо бы у нас в Московской губернии на травке полежать». А меня Ломбардия поразила так, что мне кажется, что я помню каждое дерево, а Венецию вижу, закрывши глаза». Он и перед смертью хотел увидеть Италию...

Наверное, он видел и ту картину из Дворца дождей, на которой изображено 10 тысяч человеческих фигур. И тот портрет, который замазан черной краской в виде креста, как любят говорить искусствоведы, своеобразное «*momento mori*», портрет Марино Фальери. Черная дыра на живописной стене «была чревата сюжетом».

И он захотел написать пьесу. Осенью, после Италии, Мережковский спросил его: «Написали пьесу из венецианской жизни Марино Фальери?»

– Марино Фальери? Кто он? Чехов на венецианскую тему хотел написать пьесу? Это после русской провинции? Все пять его пьес о ней.

– Я расскажу тебе о Фальери.

Санин поцеловал жену на пороге ее комнаты. И вдруг она спросила:

– Саша, почему ты не поставил ни одной пьесы Чехова? Ведь он тебя просил не однажды?

– А почему ты не написала о нем ни строчки воспоминаний? Пожалуй, единственная из знавших его?

Они посмотрели друг на друга печально и отчужденно...

Глава 11

Сразу лечь спать она не могла. Воспоминания о поездке Чехова в Италию, о времени до и после нее были мучительны. Санину она многое недосказала, подозревая, что все-таки слухи московско-петербургские его не минули. Тогда издевались не только над тем, что писатель таганрогского происхождения не интересовался великим искусством, обсуждали его походы в дома терпимости, в то время как спутники бежали смотреть Колизей или другое чудо итальянской культуры. Во время прогулок он не пропускал ни одной проститутки, чтобы не спросить, сколько она стоит. А спутникам своим объяснял, что хочет знать, до чего дойдет дешевизна. Москва и Петербург терялись в догадках, повторяли друг другу: «Все в Колизей, а он...» спросил прислугу, какой здесь более всего славится дом терпимости, и поехал туда. И во всяком новом городе, в какой бы ни приезжал, он раньше всего ехал в такой дом!!!» Смеялись, осуждали и не осуждали, объясняли, что он сознательно эпатировал аристократов Мережковских, которые все о смысле бытия, а он им о селянке у Тестова с большой водкой; кто-то говорил, что он набирает материал для рассказов на кладбищах, в цирках, в публичных домах. Но во всем этом было какое-то недоброжелательство, особенно в Петербурге, где лучший друг Суворин распространял беззлобно слухи об импотенции известного писателя: мол, он сам мне об этом писал, вот и искал искусниц древней профессии в борделях.

Слухи, перья ощипанной курицы. Легко перемещаются по воздуху и падают в любую грязь. Перемешались и с московской. Слыша их, она нашла, как ей казалось, всему свое объяснение. После Сахалина, до поездки в Италию он все время хотел ее видеть. И они виделись. Их тянуло друг к другу. И она готова была поверить той фразе в его письме из Иркутска: «Я, должно быть, влюблен в Жамэ, так как она мне снилась».

Готова была поверить до конца, принадлежать ему, с венчанием или без – все равно. Этого ей хотелось больше всего. Но встречи не принесли счастья, он становился все более

холодным и приличным. Она не могла найти этому объяснений. Она не знала о письмах Суворину, написанных в это время: «У меня начинается импотенция». «Импотенция in statu quo. Жениться не желаю и на свадьбу прошу покорнейшие не приезжать».

Она плакала, обижалась, злилась. И тогда в своих письмах она начинает многозначительно упоминать имя Левитана, что он провожал ее домой, что она готова его пригласить на ужин. В ответных письмах из Москвы особого волнения по этому поводу не было – лишь шутки и спокойные частые упоминания «соперника». Даже похвала в его адрес: «Левитан празднует именины своей великолепной музы. Его картина производит фурор... Успех у Левитана не из обыкновенных». А ей отеческие советы: не есть мучного и избегать Левитана. «Лучшего поклонника, как я, не найти ни в Думе, ни в высшем свете». Даже в письме из Венеции он спокойно ставит в одну строчку «златокудрую Лику» и «красивого Левитана».

Он был уверен в ее чувстве. Сейчас его больше волновал диагноз, который, как доктор, он ставил себе – мужчине, и обременил им себя не без страха в заграничном путешествии.

...Как просто и по-человечески объясняются его «измены Колизею», думала, улыбаясь, пожившая уже немало на свете Лидия Стахивна. И как мертвы иронические легенды по сравнению с живой, трепещущей жизнью. Его ведь никогда не манил разврат. Однажды он писал Суворину: «Вы пишете, что в последнее время “девочки стали столь откровенно развратные”... Если они развращены, то время тут положительно ни при чем. Прежде развратнее даже были: ибо сей разврат как бы узаконивался. Вспомните Екатерину, которая хотела женить Мамонова на 13-летней девочке... И не столько у вас случаев, чтобы делать обобщения».

Он после Италии сразу уехал на дачу под Алексин, которую нашел брат Иван. Дурацкая была дача: жалкая, у железнодорожного моста. При ней не было даже забора, стояла она на опушке в пустоте. Но, будучи флегматичным и тяжелым на подъем, он поселился здесь с семьей и стал сразу звать ее. И в его письмах была та живость, игра, нежность, короче, тот приподнятый жизненный тонус, который дает любовь. И не смущало его, что он, пишущий, на своей даче «был подобен раку, сидящему в решетке с другими раками: тесно».

Она приехала на пароходе через Серпухов и привезла, как считала, сразу два подарка – Левитана и Богимово. Хозяином Богимова был некий помещик Былим-Колосовский, с которым она познакомилась в пути, рассказала ему о Чехове, и тот через два дня прислал за всеми две тройки и предложение поселиться у него. И Чеховы очутились в великолепной барской усадьбе с каменным домом, липовыми аллеями, рекой, прудами. «Комнаты велики и с колоннами, парк дивный, церковь для моих стариков», – радовался он ее подарку. Но Левитан... Это было некстати. Некстати она приехала с влюбленным в нее Левитаном. И трудно было доказать, что она не влюблена: уж слишком красивым и благородным было лицо художника, выразительные глаза, гармония черт. Он был талантлив, известен, позировал Полену для картины «Христос и грешница». Для женщин был неотразим, ибо влюбчив. Все романы его протекали громко, бурно, на виду. Левитан ухаживал откровенно, не стесняясь – в парке, на концерте, в поезде. Но как Чехов не понял, что она, Лика, не влюблена в Левитана? Разве влюбленный позволит двусмысленные, глупые, пошлые письма, в которые рукой красавца художника вписывались комплименты, ее рукой провокации – «мой адрес и Левитана тот же». Разве позволила бы Левитану влюбленная женщина писать о ней, от ее имени другому мужчине сомнительные вещи, типа «она любит не тебя, белобрысого, а меня, вулканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе все это читать...» Или: «Замечаешь, какой я великодушный, читаю твои рассказы Лике и восторгаюсь. Вот где настоящая добродетель». Есть правило, что о любимой и любящей женщине нельзя сообщать третьему. Если женщину и себя уважаешь – не бери конфиденнта. Ангел и тот этого не поймет. Он не понял, что они вдвоем дразнили его, дурачились, развлекались. Зачем это нужно Левитану, если бы он знал, что Чехов равнодушен к ней? Зачем это было нужно ей, если бы она не любила?! Это был сговор, в который они с Левитаном втянули человека, одиноко сидящего в Богимово в огромной пустой комнате,

у подоконника, где он работал. И заставили его стать на стезю буффонады. Не очень веселой и удачной по остроумию.

«Дорогая Лика! Посылаю свою рожу. Завтра увидимся. Не забывай своего Петьку. Целую 1000 раз». Или «Дорогая Лидия Стахиевна. Я люблю Вас страстно, как тигр, и предлагаю Вам руку. Предводитель дворняжек Головин-Ртищев».

В этой безудержной «шуточной» игре все выглядели плохо. И все же слышалось из Богимово и то, от чего и сейчас у нее сжимается сердце: «У нас великолепный сад, темные аллеи, укромные уголки, речка, мельница, лодка, лунные ночи, соловьи, индюки. В реке и в пруде очень умные лягушки. Мы часто ходим гулять, причем я обыкновенно закрываю глаза и делаю правую руку кренделем, воображая, что вы идете со мной под руку». Во все века мечтали девушки о такой мужской нежности... А дальше подчеркнутые сухость и задетое самолюбие: «Кланяйтесь Левитану. Попросите его, чтобы он не писал в каждом письме о Вас. Во-первых, это не великодушно, а во-вторых, мне нет никакого дела до его счастья».

И в конце: «Приезжайте же, а то плохо будет». Он, кажется, готов был к обоюдному счастью. Отправил ей одно за другим семь писем, и это были письма влюбленного мужчины, который звал ее к себе. Она стала источником его волнений, тревог, тайных переживаний.

Но она – «золотое сердце», как все говорили о ней, – потеряла чутье, заигралась. Она не приехала в Богимово, где все могло случиться. Ей захотелось побыть в компании свободных от условностей людей, уйти от диктата и опеки Чехова, позлить его и заставить ревновать. Левитан объяснялся ей в любви, его спутница, дилетантка-художница Софья Петровна Кувшинникова, удивляла и интриговала своей самостоятельностью, безразличием к условностям. Ее считали незаурядной, яркой, талантливой. Она прекрасно одевалась. Все шила себе сама, казалось бы, из того, из чего и сшить ничего невозможно. Умела уютно обставить свой дом. Ее квартира казалась богатой и изящной, хотя турецкие диваны были сконструированы из ящиков из-под мыла, накрытых матрацами и коврами. У нее была семья: муж – полицейский врач, дети, но она свободно выезжала с Левитаном на этюды, не боясь быть скомпрометированной. Создала свой салон, где бывали знаменитости, а чтобы удержать при себе красавца Левитана, окружала его молодыми лицами. Пусть порезвится, но останется с нею. Лику приблизили на роль «с ней можно порезвиться». Для этой цели удобным и уютным оказалось имение Ликиных тетушек Покровское, рядом с которым поселились в деревне Затишье Левитан с Кувшинниковой, а потом и совсем переместились в Покровское.

Осень стояла красивая. Левитан писал портрет дядюшки Панафидина, который был на крестинах Лидуши, этюды, свой знаменитый «Омут».

Все много гуляли вечерами, пили чай на «цветочном балконе», тетушка Софья Михайловна перед сном писала свой ежедневник. Левитан шумел, громко говорил, спорил с Кувшинниковой, когда она уставала от его напористости, произносила вдруг тихо и жестко: «Я знаю, что на 13 лет старше тебя и не красавица». Левитан смущенно замолкал и переходил к влюбленным вздохам, обращенным к Лике. Но азарт игры сходил, по всем признакам, на нет. Все чаще ей вспоминались «умные лягушки», живущие в Богимово, так и не дождавшиеся ее.

Позже она найдет свой след в «Попрыгунье», «Рассказе неизвестного человека», в «Жене», где будет фраза: «Все современные, так называемые интеллигентные женщины, выпущенные из-под надзора семьи, представляют собой стадо, которое наполовину состоит из любителей драматического искусства, а наполовину из кокоток».

Чем не о ней: захотела в актрисы – пошла на сцену в частный Драматический Пушкинский театр и провалилась с дебютом. В истории с Левитаном – Кувшинниковой – почти кокотка в Мясницкой части под каланчой... Пройдет несколько лет, он это припомнит ей: «У Немир. и Ст. очень интересный театр. Прекрасные актрисочки. Еще немного, и я потерял бы голову... Но не бойтесь. Я не осмелюсь на то, на что они осмеливались так успешно». Итак, она тоже изменила своему Колизею. Но у нее не было на то столь серьезных, как у него, причин.

Лидия Стахивна достала из секретера миниатюрную книжечку с замочком и записала: «“Чайка” – не есть история моих отношений с Потапенко. Подобных историй не счесть со времен “Бедной Лизы” Карамзина. Важны не житейская канва и прототипы, а побуждения пишущего. А они толкали его написать о чем-то для него важном, но бессмысленно загубленном. В богимовское лето бессмысленной, бездарной, грубой и безвкусной мистификацией была погублена любовь двух человек – наша любовь. Литературное обрамление – как ни смешно, подсказал все тот же Левитан. Экзальтированный Левитан. Он завел однажды сложный роман и решил застрелиться. Вызвали Антона Павловича его спасти. По счастью, рана была неопасной. После бурного объяснения с дамой Левитан сорвал повязку, бросил ее на пол, схватил ружье и исчез из дома. На “заколдованном озере” Островно он зачем-то убил летавшую чайку и, вернувшись, бросил ее к ногам любимой женщины... Богимовское лето было печальным, неловким и некрасивым. Но оно не было законченным эпизодом... Не потому ли и вся пьеса “Чайка” есть недосказанность с незавершенностью судеб?»

«Но как странно, – подумала Лидия Стахивна. – Левитан со своей чайкой и я со своей судьбой – его буффонада и моя рухнувшая жизнь – оказались в одном сюжете. Не отомстил ли Чехов им за богимовское лето своей комедией под названием “Чайка”?»

Глава 12

«Я могу ей ответить, почему не ставил чеховских пьес... – Санин расхаживал по комнате и говорил сам с собой. – Зато я играл в его пьесах. Пытался играть Соленого в “Трех сестрах” – не получилось. Смахивало то на калабрийского разбойника, то на героев Лермонтова. Но играл в “Иванове”, в “Вишневом саде”».

Он представил, как все перечислит, а она отведет глаза. Конечно, ответ уклончивый. Очень уклончивый. Тогда он скажет, что Чехова в Александрийском театре ставил режиссер Озаровский Юрий Эрастович. Но это будет полуправда. Ставить – ставил. Но передавал ему пьесы Санин. Чехов слал письма с просьбой, чтобы Санин взял на себя хотя бы одну из постановок его пьес, но он все время находил повод для отказа...

Он может все объяснить тем, что он – режиссер толпы, народной массы, бунта, силы, когда гул голосов, единый взгляд, брошенный десятками глаз, пластическое движение рук воспринимается как единое существо, а чеховские пьесы – это акварель, это тончайшая психология отношений. Это – не его ампула...

Но и это будет неправда. Не совсем правда. Ведь он поставил «Месяц в деревне» Тургенева. «Пьеса смотрится как нежная акварель, на краски которой легло, слегка прикоснувшись своими крыльями, время», – утверждали критики, подводя его под монастырь и лишая последнего оправдания перед Чеховым. Да, он действительно тогда вдохновился картинами прошлого, дворянской стариной, руинами 40–50 годов XIX века. Он писал своей любимой теще, матери Лидуши: «Дорогая моя художница – ты такая мастерица, так знаешь всю вашу помещичью округу, всех дворян... Если бы ты перебрала с тетей Серафимой в памяти всех знакомых, может быть, вы нашли бы мне материал для постановки, какие-нибудь фотографии, – я бы... заехал в Покровское и отдал бы пару дней Тургеневу».

Он пользовался экземпляром пьесы, подаренным Савиной Тургеневым.

И сам он был «Санин» – псевдоним взят у тургеневского героя из «Вешних вод». «Что может сравниться с чистотой и прелестью дивного тургеневского языка, с мягкостью и прелестью его лиризма, с чарующе поэтическим настроением его сценических писаний», – писал он. Утверждал, что Чехова на сцене родил именно Тургенев, что в поэзии «Дворянского гнезда» и «Месяца в деревне» есть предчувствие «Вишневого сада».

«Мы с Лидушей даже поздравили А.П. с премьерой “Вишневого сада”! Желали ему, что бы его нежный талант и глубокая поэзия долгие годы цвели, дышали, как удавшийся премьерный спектакль “Вишневого сада”»!

Однако он и эту пьесу не ставил, а успех «Месяца в деревне» объяснял не своими заслугами, а игрой великой Марии Савиной. Но все это доводы не для Лиды. Она-то знает, что ту «привлекательную жизнь, которую хочется изучать и которой хочется служить» показал на сцене именно режиссер Санин.

Так что же остается? Нет, что ли, объяснений? Но если покопаться в душе... Ему пьесы Чехова казались и поэтичными, и лиричными, и сентиментальными. Да. Но почему-то виделись ему искусственными, смоделированными, выдуманскими; рассказами о жизненных мелочах, расписанными на диалоги и монологи. Капля, рассматриваемая в увеличительную линзу, и женщины – интеллигентки, декадентки, неврастенички. Он чувствовал, что все это не из арсенала широкой, сильной жизни, а из жизни задавленной, когда печи дымят, в форточки дует, супом пахнет и ступени под ногами дребезжат. Быть может, поэтому «Вишневый сад» сводился к Мелехову, «Дядя Ваня» – к тесной квартире в доме Фирганга, «Чайка» – к неудавшемуся любовному роману и к ненаписанному роману, «Иванов» – к утомлению от жизни, страху перед одиночеством, чувству вины и к роману с Дуней Эфрос.

Театрам легко играть штрихи, пунктиры, нюансы – тепло, уютно, со слезой. Это – не драмы и страсти! На сцене они трудны, ибо не театральными должны быть гром и бездны. А такими, в которые можно поверить.

«Где драма? – вопил, посмотрев “Дядю Ваню”, Лев Толстой. – В чем она? Сверчок, гитара, ужин – все это так хорошо, что зачем искать от этого чего-то другого?» А он, тридцатилетний Санин, в свою очередь вопил в ответ: «Да Астровым, Ваням жить, жить хочется! В деревне плохнут силы, мечты, талант, любовь, молодость!» Хотел все это крикнуть так громко, чтобы в квартире Толстого это было слышно. Он забыл тогда в 1900 году, что Толстой сам прожил безвыездно в деревне 18 лет и отнюдь не стариком туда приехал. И не заглохли его силы, талант, любовь!..

Тогда же Толстой вдруг обронил простую фразу: «Пьеса топчется на одном месте». То есть топчутся герои, их мысли, дела, отношения. И Санин вздрогнул и написал Чехову: «За этот синтез благодарю Толстого!.. Он говорит как раз о том, что мне в “Дяде Ване” дороже всего, что я считаю эпически важным, глубоким, драматическим, что говорит о болезни нашего характера, жизни, истории, культуры, чего хотите, о “славянском топтании на месте...”»

Санина упрекали, что он сообщил Чехову о недовольстве Толстого по-лисьи: с одной стороны «“Дядя Ваня” – любимейшая пьеса», с другой – «постарался передать с удовольствием неприятие ее Толстым».

«Несправедливое обвинение, – проворчал вслух Санин. – За две-три недели до появления Толстого в театре я написал Чехову письмо и прямо сказал в нем, что брежу этой пьесой с ее истинной трагедией славянского духа, но вижу, как при многих достоинствах постановки пострадал общественный элемент пьесы, что того “Дяди Вани”, который мне мерещился, нет! Нет и Астрова, который мне мерещился печальником, радетелем земли русской. Но это мечты мои...»

Санин стоял посреди комнаты и грыз ногти. И вдруг закричал:

– Ну не хотел я, не хотел их ставить!

И заплакал. Потом вытер лицо рукавом, посопел:

– Но как бы он все-таки написал пьесу о Фальери? Акварелист о гремучих страстях. И где? В городе дивной красоты и погибельности, который он сам видел. Гремучие страсти... я бы не устоял. Чистое совращение даже в мыслях, хотя пьесы нет и автора тоже.

Господи, как все давно было... Санин перекрестился.

Глава 13

Лидия кашляла всю ночь. Немного поспала под утро. Проснувшись от приступа кашля, позвонила горничной.

– Полин, принесите жженный сахар, – попросила она стародавнее средство бабушки.

Закуталась в огромный оренбургский платок, села в кресло и начала сосать коричневую горку сахара на узкой серебряной лопатке. «Грехи мои меня собрались навещать», – подумала, глядя в окно.

На стекло прилипли снежинки, и стучал ветер со снегом. Она закрыла глаза и явственно почувствовала запахи зимы, не этой, парижской, а той, которая в России, московской, нет, даже деревенской в Старицком уезде: много белого света, пространства, все весело поскрипывает, сверкает на солнце.

– «Мороз и солнце; день чудесный!» – сказала она с удовольствием. – Где Саша? – хотела его позвать в каком-то радостном возбуждении, но вспомнила, что он занимается, как говорил, «затеей на целый год» – поездкой «Русской оперы» в Северную и Южную Америку и в Лондон. Приглашали его заведовать художественной частью, и он предвкушал интересную работу. – Буду вспоминать одна, – решила Лидия Стахивна и улыбнулась:

Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня
И навестим поля пустые,
Леса, недавно столь густые,
И берег, милый для меня.

И для меня тоже. Тверь, Старица, Торжок, Малинники, Покровское, Берново, Подсосенье, Грузины, Прутня, Павловское. Какие слова! Как сладко произносятся! Когда-то можно было их произносить каждый день. И бабушка Софья Михайловна так просто посылала мальчика Егора с поздравительным письмом к Марье Николаевне Панафидиной, ибо близился день ее Ангела, да и о здоровье бедного Ивана Павловича, часто хворавшего, надо было узнать. Письмо шло в Курово-Покровское, где часто бывал Пушкин и в комнате, называемой «Цветной», что-то писал в 7-ю главу «Евгения Онегина».

Одна из Панафидиных, родственница Лидии Стахивны, оставила об этом воспоминания. В этих родных для нее местах, где реки Тьма, Тверда и Волга, вспоминать, рассказывать, иногда фантазировать любили все состоятельные и мелкопоместные, старые и молодые, ученые и неученые соседи.

В Твери показывали дом, где находилась гостиница Гальяни, сторевшая, правда, когда Лиде Мизиновой было девять лет. Но то, что там Пушкин ел «с пармазаном макарони да яичницу», знали все. Спорили, какие пояса золотошвей из Торжка послал поэт княгине Вяземской. Гадали, бывал ли Пушкин в Райке, усадьбе архитектора Николая Львова, блестящего по дарованиям человека. Бывал ли в Чукавино, поместье гвардейского офицера, поэта и страстного игрока в карты Великопольского: во-первых, в 29-м году Пушкин написал на него дружеский шарж:

Проигрывал ты кучки ассигнаций,
И серебро, наследие отцов,
И лошадей, и даже кучеров —
И с радостью на карту б, на злодейку,
Поставил бы тетрадь своих стихов,

Когда б твой стих ходил хотя в копейку,

а во-вторых, здесь, в Чукавино, нашли миниатюрный портрет поэта в возрасте двух-трех лет. И кое-кто поговаривал, что поэт проиграл миниатюру Великопольскому. Спорили, с какого кабинета в усадебных домах списан кабинет Онегина, который посещает Татьяна в VII главе. Чье поместье представлено в сцене прощания Татьяны с милыми ее сердцу местами – Покровское, Малинники, Берново, Подсосенье... Спорили. Вспоминали то, чего и вспомнить нельзя уже было... «Все Тверские наши представлены, – говорила Лиде бабушка. – Он любил деревенскую жизнь, и твердил, что звание помещика есть та же служба. Что заниматься управлением трех тысяч душ, коих все благосостояние зависит от хозяина, важнее, чем командовать взводом или переписывать дипломатические депеши». Лидия Стахивна помнила картину какой-то художницы под названием «Дом помещиков Юргеневых в Подсосенье». Это был дом ее деда Александра Юргенева. Дед считался самым близким соседом друзей Пушкина Вульфов – жил всего-то в полутора километрах от Бернова. А рядом Малинники: мрачно-ватый одноэтажный дом в старинном парке с липовыми аллеями и зарослями сирени. Крыльцо подпирали колонны из могучих сосновых бревен.

Лидия Стахивна помнила, как в 1891 году художник Бартенев рисовал этот дом. На его крыльцо поднимались Прасковья Александровна Осипова, ее молодые дочери – приятельницы Пушкина, и сам Пушкин, и ее, Лиды Мизиновой, дед. Лидия Стахивна, отложив лопатку со жженым сахаром, улыбнулась: спустя сто лет она была довольна дедом и даже им гордилась. Возможно, и она, Лидия Юргенева (по матери), родись раньше, со своей красотой, о которой столько говорили и по сей час говорят, «заняла бы воображение» Пушкина... Представился ей вечер в деревне: поэт в уголке за шашками, скучно, и вдруг скрип, шум возка или кибитки, неожиданные гости – старушка, две девицы...

А если бы она осталась жить в деревне, в уездной Старице? Хватило бы у нее ума и деловитости, как у Прасковьи Александровны Осиповой, которая гоняла на корде лошадей и читала «Римскую историю», хотя жила – в «печальных селениях», по слову Пушкина. Не досталось ей силы и жизнелюбия бабушкиного: то она «киснет», как говорит Катя, то она «ревет», как писал Антон Павлович, и никак не станет «деятельной особой», по гневному, но и горькому возмущению бабушки. Бабушке Софье Михайловне тогда было много лет. Но она просто, мужественно и красиво смотрела на жизнь. Лидия Стахивна вспомнила школьные тетрадки, исписанные карандашом – ежедневники, – которые бабушка вела. И свой детский вопрос:

– Как сделать так, чтоб долго жить? Тогда бы я и Пушкина увидела – или он бы дожил до меня, или я бы его подождала.

– Ты не совсем правильно, Лидуша, считаешь. А чтобы жить долго, живи достойно. Приканчивают человека глупость и безделье. Добродетель – сама себе награда. Порок – сам себе кара.

Бабушка говорила мудрено, но Лида поняла, что у Пушкина что-то было не так...

– А что в этих тетрадях? – спросила она о ежедневниках.

– Мой отчет перед Богом.

Глава 14

Настало, кажется, время и Лидии отчитаться перед Богом.

Считать ли грехом ее уход из дома?

И да, и нет, ответила бы она. Да, грех – потому что горе и боль испытали родные, вышивавшие ее жизнь по своей канве: пансион благородных девиц, заготовленный жених, имение Подсосенье с размеренной, приличной жизнью. И родительское удовлетворение от счастья, которое выпало бы дочери. С другой стороны, нет, не грех – она ведь искала свою жизнь, боя-

лась повторов и даже имя любимой матери звучало угрозой этого повтора. Мать тоже Лидия. И несчастлива. Брошена мужем, давнее одиночество, заботы о дочери – осталась с трехлетней на руках. Обещалась в ней великая пианистка, была даровита, училась у знаменитого Гензельта, а всю жизнь провела ради заработка в Московском сиротском приюте и Елизаветинской гимназии, где преподавала музыку. Быть может, потому и заплакала, узнав, что дочь тоже начала свою жизнь учительницей: «Медам, теш! Медам, теш!» – будет устало она утихомиривать расшумевшихся девиц в младших классах. Но дочь иначе смотрела на свою работу. Время донесло весть об умных, самостоятельных женщинах, которые ломали заведенный для них обществом порядок и шли учиться, создавали швейные мастерские, производственные и потребительские ассоциации. А лучшие, сочувствующие женскому движению мужчины всячески подчеркивали недостойное положение женщины в обществе: «В семье мужчина обязан ставить жену выше себя – этот временный перевес необходим для будущего равенства».

– Впрочем, почему «донесло весть»? – Лидия Стахивна вспомнила, как брат Антона Павловича Михаил Чехов рассказывал, что у них в гимназии нашли роман Чернышевского «Что делать?» – читали тайком гимназисты. «Какой кавардак со стихиями устроило начальство!» – смеялся Михаил.

Было бы как-то объяснимо, если бы равноправие женщины пропагандировал только арестант Петропавловки господин Чернышевский. Нет, лучшие умы российского общества ставили этот вопрос – Сеченов, Боткин, великий князь Константин Константинович Романов, профессор Герье. Химики, физики, физиологи, медики создавали женские курсы, читали на них лекции. «Женский вопрос» как часть русского общественного движения приобрел особую остроту, широко дебатировался в печати.

Уже оканчивая университет, Чехов задумывал «специализировать себя на решении таких вопросов» и собирался в качестве магистерской диссертации взять тему «История полового авторитета». Он даже брату Александру писал, что разрабатывает «один маленький вопрос: женский» и думает критически подойти к писаниям «наших женских эмансипаторов и измерителей черепов». В Москве профессор всеобщей истории Московского университета Владимир Иванович Герье открыл Высшие женские курсы. На них поступила Маша Чехова. Она слушала таких профессоров, как Ключевский, Карелин, Стороженко, самого Герье. «Интересно, что от пребывания сестры на курсах, – писал тот же Михаил, – изменилась сама жизнь чеховской семьи. Дом посещали развитые, умные, интеллигентные девушки, подруги Маши».

«Я помню их. Живы ли они?» – Лидия Стахивна, прикрыв глаза, увидела гостиную на втором этаже в доме Корнеева, который снимали Чеховы на Садовой-Кудринской. Читали вслух, – всегда читала Маша, тихим голосом, но ее слушали, потом споры до громкого крика и смех. И музыка с пением.

И она, Лида Мизинова, всегда пела. И ею восторгались – красотой, голосом, остроумием, легкой светскостью, говорили даже о неординарном мышлении. Советовали учиться дальше, учиться серьезно.

Но время наступало другое. Одно за другим восемь покушений на царя. 1866 год, в Александра стрелял Д. Каракозов, 2 апреля 1875 года – А. Соловьев, осенью 1879 года произошел взрыв царского поезда, в 1880 году – взрыв в Зимнем дворце, устроенный Халтуриним, и т. д. Убит Александр II был 1 марта 1881 года бомбой, брошенной И. Гриневецким. Ей, Лиде Мизиновой, было одиннадцать лет. А когда ей исполнилось шестнадцать, женскому движению был нанесен оглушительный удар. Высшие женские курсы в Петербурге были закрыты, курсы в Москве, Киеве и Казани признаны правительством «не удовлетворяющими по организации своей строгим научным и воспитательным целям».

Вскоре был издан циркуляр министра народного просвещения графа Делянова, которым ограничивался прием детей недворянского происхождения в гимназии, а в средние учебные заведения предписывалось не принимать детей кучеров, прачек, мелких лавочников.

«Женская волна», натолкнувшись на стену, возмущенно вздохнула, отпрянула и растеклась в других направлениях. Одним из них стало театральное направление. «Вырваться из глуши, из тусклых будней, найти дело, которому можно было бы отдать себя целиком, пламенно и нежно... Пока женские права были у нас грубо ограничены, – подчеркивал Немирович-Данченко, создатель МХТ, – театральные школы были полны таких девушек...» Они не воспринимали театр только как приятное зрелищное развлечение. Для них театр был еще и делом общественным, когда сцена «проступает рупором великих идей». Было еще одно магическое словосочетание: «театр Станиславского», Алексева-Станиславского, где работали за копейки, но готовы были жизнь отдать театру, где актеры – как семья, где все озарены энтузиазмом, где нет места зависти и ревности, где личность театральная, статист ты или премьер, возведена на большую нравственную, культурную, эстетическую высоту.

Глава 15

Лиду Мизинову захватила эта новая театральная волна. Она давно втайне мечтала о сцене. И обстоятельства способствовали. Мать – пианистка, знаток искусства, учила дочь пению, музыке, а красотой, живостью, пластикой одарила ее природа. Но вот позади «Общество искусства и литературы», драматический класс режиссера и драматурга Александра Филипповича Федотова, полный провал на сцене частного Пушкинского театра, где она выступала с дебютом в пьесе Гнедича «Горящие письма», преподавание в гимназии, частные уроки французского языка... «Вы, девицы, способны только на то, чтобы давать грошовые уроки и учиться у Федотова глупостям. Я написал Вам длинное, ругательное письмо, но раздумал посылать его. Зачем? Вас не примешь, а только расстроишь Вам нервы», – писал ей Антон Павлович. Она идет служить в Московскую городскую думу – Антон Павлович зовет ее «думским писцом», когда она берется за переводы с немецкого, неусыпное око Чехова снова замечает ее лень и беспорядочность: «У Вас совсем нет потребности к правильному труду. Потому что вы больны, кисните, ревете... В другой раз не злите меня Вашею ленью, и, пожалуйста, не вздумайте оправдываться! Где речь идет о срочной работе и о данном слове, там я не принимаю никаких оправданий. Не принимаю и не понимаю их!»

Она злится и обижается – он строг не по праву влюбленного мужчины. А он влюблен – и она это знает. Потому интригует его тайной какого-то нового, главного для нее дела. «Да нет у вас никакого дела!» – заявляет он. И резко, ничего не угадывая в женщине, хотя писал о них так много – о курсистках, вдовах, дамах, женах, барышнях, институтках, загадочных натурах, синих чулках, – заключает: «Было бы, незачем было бы держать его в тайне».

Тайна была и дело было, и касалось оно их отношений с Антоном Павловичем. Она им серьезно занималась. Она предложила Чехову уехать в путешествие по Крыму и Кавказу. Маршрут разработала: Москва – Севастополь – Батум – Тифлис – Военно-Грузинская дорога – Владикавказ – Минеральные Воды – Москва. Домашним сказала о «даме», с которой едет, о здоровье и усталости. Антон Павлович предупрежден: места их будут в разных вагонах.

Билеты достает отец, начальник движения на железной дороге.

Но поездка не состоялась: «Уехать я никуда не могу, так как уже назначен холерным врачом от уездного земства (без жалованья)... Холеру я презираю, но почему-то обязан бояться ее вместе с другими...»

«Он писал о серьезных вещах», – со стыдом подумала Лидия Стахиевна, словно он жив и завтра-послезавтра она его увидит.

Холера была уже под Харьковом. Он разъезжал по деревням и фабрикам с разъяснениями, как бороться с болезнью. Заседал на санитарном съезде. Был болен, утомлен и раздражен. О литературе думать было некогда, значит, и денег ждать неоткуда. Она все это знала и все же написала грубо, словно злая жена надоевшему мужу: «Вечно отговорки!» Получалось,

что вместо Крыма и Кавказа с ней, красавицей, он предпочел холерные бараки, утомительные разезды по непроезжим дорогам...

Она тогда явила ему свою вздорность. И как бы в отместку – так ей теперь хотелось думать – окунулась с головой в веселую, пьяную жизнь, в водоворот призрачного существования. Ее привлекали знаменитости, сплетни, ссоры, карьеры, она вращалась в кругах около-театрального и окололитературного мира. В свою очередь, знаменитости интересовались ее красотой. Левитан дарил ей картины (они ушли в комиссионные магазины после их с Сашей отъезда из России), Шаляпин дарил ей свои портреты, Чехов – книги, Потапенко, знаменитый беллетрист... Впрочем, последнее имя – отдельный сюжет.

Когда ты «при» или «около» талантов, тебе кажется, что ты полноправен, уважаем не меньше – только за стол не присел, ручку не взял или не сделал шаг на сцену. Но случайно услышанное «околотеатральная дама» все ставит на место. В такие минуты она жалела, что не осталась в Старице, или Твери, или Торжке и не занялась легендами и мифами о Пушкине, не собрала все в единый архив или музей. Возможно, этот музей носил бы ее имя, хранильницы, собирательницы распыленного во времени, куда крупницей входило и ее родословие Юргеневых.

Но упрямцы в делах хуже, чем в речах, настолько, насколько действие опаснее слов. Она бросалась в веселье родственного круга. Родственники, их знакомые, приятели были и в Покровском, и в Подсосенье, и в Старице, и в Торжке. Она блистала, была приятна в беседе, принаравливаясь к характеру и уму собеседников. Не строила из себя цензора чужих слов, не придиралась к мыслям и суждениям провинциалов, зная, что благоразумие в беседе важнее, чем красноречие. Ею были очарованы, чего не понимала любившая ее, но строгая бабушка Софья Михайловна. О своем успехе писала в Москву и Мелехово, чем задевала Антона Павловича: «Благородная, порядочная Лика! Как только Вы написали мне, что мои письма ни к чему меня не обязывают, я легко вздохнул, и вот пишу Вам теперь длинное письмо без страха, что какая-нибудь тетушка, увидев эти строки, женит меня на таком чудовище, как Вы.

Со своей стороны тоже спешу успокоить Вас, что письма Ваши в глазах моих имеют значение лишь душистых цветов, но не документов; передайте барону Штакельбергу, кузнецу и драгунским офицерам, что я не буду служить для них помехой. Мы, Чеховы, в противоположность им, Балласам, не мешаем молодым девушкам жить».

Фамилию Евгения Балласа, поклонника и жениха ее, он уже однажды переделывал в «Барцала» – фамилию московского театрального деятеля, и в «Буцефала» – имя мифологического коня. (А бабушка Софья Михайловна вздохнула: «Ах, бедная моя Лидуша! Не исполняет мое желание соединения с Балласом. Была бы славная парочка! Что делать?».)

– Нет! – сказала она Балласу в высокой комнате, затемненной огромными кустами цветущей сирени.

– Но почему? – Он возмутился и очень побледнел. Но ответа не выслушал. Старый паркет заскрипел под его шагами и захлопнулась дверь.

Лидия Стахивевна иногда пугалась себя, своих страстей и своеволия, далекого от здравомыслия. Домашние часто повторяли: благоразумный знает, куда ставит ногу. Ее же нога не однажды нащупывала пустоту.

Таня Куперник заметила как-то, что в себе и своих подругах она видела девушек, которые в 60-е годы пошли бы на медицинские факультеты, а в новых условиях потянулись в искусство. Эти женщины были непривычны для мужчин. «Мы умели, – пишет Куперник, – веселиться, выпить глоток шампанского, спеть цыганский романс, пококотничать; но мы умели поговорить о Ницше, и о Достоевском, и о богоискательстве; мы умели прочесть реферат... и со свободой нравов соединяли... порядочность, благовоспитанность, чистоту. Знали, что нас нельзя купить, что мы требуем такого же уважения, как “жены, матери и сестры”, а вместе с тем с

нами можно говорить как с товарищами, но при этом чувствовать тот “аромат женственности”, без которого скучно».

Все так. Но Лика словно лелеяла и холила свои не лучшие страстишки. Поддавалась им, не умела справиться. Впадала в оригинальничье, эдакое наваждение, самообман, вначале приятный, соблазняющий новизной, но затем, когда прозревала, весьма прискорбный.

«Я прожигаю жизнь, – взывала она к Антону Павловичу, – приезжайте помогать поскорее прожечь ее, потому что чем скорее, тем лучше... Ах, спасите меня и приезжайте... Ах, как все грязно и скверно».

«Я так закружилась, что остановиться не могу сама...» Она курила, пила, меняла компании, наряды, была груба, развязна, неприятен был стиль ее писем, разговоров с набором «милых выражений» – сволочь, обожралась, проклятая Машка, пакость.

Но вдруг наступало прозрение, тишина. Ее обижали напоминания о Левитане («Снятся ли вам Левитан с черными глазами, полными африканской страсти?» – спрашивал иронически Чехов), о ее дружбе с Кувшинниковой, в которой она когда-то видела образец эмансипированной женщины («Продолжаете ли вы получать письма от Вашей семидесятилетней соперницы и лицемерно отвечать ей?») – старался уколоть ее Антон Павлович.

И до слез довели строчки из его же письма, что он уедет после холерных страхов все же в Крым, а она будет киснуть со своими родственниками в Торжке, а «прокиснув», вернется в Москву, чтобы ездить к Кувшинниковой, курить, ругаться с родственниками, посещать спектакли у Федотова. Все здесь было обидно: и упоминание о Крыме, и издевка над ее родственниками, и над спектаклями Федотова, в которых она так мечтала играть, но не получилось, и... несчастная Кувшинникова с ее коробками из-под мыла для турецкого дивана...

В такие минуты ей было больно за себя: она знала, что всегда готова броситься навстречу доброте... С бесконечным доверием броситься. Она даже с именем своим рассталась. Чеховы сказали:

– Вы будете не Лида, а Лика.

– Но почему?

– Так зовут Лидию Николаевну, жену артиста Малого театра Александра Ленского. Они у нас бывают. Вам тоже идет это имя. Лучезарный лик.

С ней были добры – и она согласилась стать Ликой.

Она не читала, что писали о ней и Антоне Павловиче. Но если бы ей сказали, что она пыталась достигнуть уровня умных дам, окружавших писателя (так теперь пишут), Лидия Стахивна пожала бы плечами:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.